

Статья с таким названием предполагает своего рода подведение итогов. Обычно обзор проделанной работы уместен, когда наступает юбилей или какой-то новый этап в жизни науки или общества в целом. Юбилея у нас нет, а новый этап есть, и перемены ощутимо сказываются на состоянии науки.

Страна стала другой. Разрушен Советский Союз. Вместо общественно-экономической системы, называвшейся социализмом, внедрен и продолжает укрепляться капитализм, обслуживающий экономику Запада. Перемены привели к упадку хозяйственную жизнь страны. В плачевном состоянии армия. До трети национального дохода России оседает в зарубежных банках¹, а некоторые категории трудящихся не получают зарплату год и больше – в нарушение элементарных прав человека.

Ничтожная часть общества стала несказанно богатой. При этом, согласно одному из последних исследований, около половины населения России испытывает существенные материальные трудности (среди них 18,5% вынуждены занимать деньги и продавать личные вещи, чтобы выжить, и 29% живут от зарплаты до зарплаты и не могут тратить деньги на что-либо, кроме питания). Лишь около 18% населения живет в целом обеспеченно. В Кузбассе, Центрально-Черноземном регионе, на Северном Кавказе на грани нищеты находится более 50% населения². Население России стало вымирать, теряя в год свыше 1 млн. чел.

Перемены в стране сопровождались обещаниями построить демократическое общество, однако новая Конституция России предоставила президенту почти неограниченную власть и практически лишила общество возможности контролировать правящую «элиту». С точки зрения 74,4% опрошенных россиян, «демократические институты и процедуры (выборы, парламент, свобода печати) представляют собой пустую видимость, а управляют нами те, у кого больше богатства и денег»³.

Преобразования сопровождается идеологическая работа невиданного размаха. Чтобы затушевать разрушительный характер «реформ», людям рассказывают о наступившей стабилизации, успехах внешней политики, мудрых решениях президента, лучшем министре экономики и о единственно верном курсе, которым сегодня идет Россия. Наряду с этим через средства массовой информации в сознание граждан России внедряются идеалы западной технологической культуры в ее американском варианте – с утверждением индивидуализма, культом силы и денег. Нынешняя пропаганда способствует появлению у граждан России чувства неполноценности и неуверенности в себе, вселяя в них веру в преимущество цивилизации развитых стран Запада, на которые отныне следует равняться, перенимая их «менталитет» и образ жизни. Это делается различными путями, в частности внушением пренебрежительного отношения к историческому прошлому нашей страны, прежде всего к сложному периоду, наступившему после 1917 г. Очернение прошлого и привычных для российского общества ценностей, включая патриотизм, нередко принимает форму русофобии⁴.

Общественные науки всегда тесно смыкались с господствующей идеологией. И сегодня влияние той идеологии, которая насаждается средствами массовой информации, ощущается в этнографической науке. Это, в частности, тенденция принизить значение нашего национального научного наследия, настойчивое распространение тезиса, что в советский период наука не могла быть полноценной, ибо идеологические ограничения вынуждали ученых в своих исследованиях исходить из идеологических установок.

* Статья написана при поддержке Российского гуманитарного научного фонда. Проект 95-06-17606.

В критическом взгляде на советский период отечественного народоведения немало справедливого. Это была, как мы знаем, чрезвычайно противоречивая эпоха, принесшая стране и блага, и беды. Однако в ряде случаев мы встречаем в работах своих коллег негативные оценки прошлого, которые не вполне, а то и совершенно не соответствуют фактам. Идет своего рода процесс создания новых мифов в духе новой идеологии.

Такого рода искажающие вчерашнюю действительность оценки проявляются по-разному. Наряду с общими декларациями, объявляющими, например, что эгоцентризм, депрофессионализация и внутренняя несвобода стали «второй натурой советских людей»⁵, есть и конкретные указания на те или иные трудности, будто бы мешавшие ученым хорошо работать.

Так, видный и уважаемый специалист заявляет: «К сожалению, в советский период изучение тувинского шаманизма шло совершенно неудовлетворительными темпами из-за идеологической борьбы с религией и зачастую носило иллюстративный характер и обязательно сопровождалось политико-пропагандистской трактовкой на базе догматического мышления»⁶. Нам предложена довольно пристрастная оценка. Здесь не все верно. Во-первых, известны работы о тувинском шаманстве, в которых нет «обязательных» политико-пропагандистских трактовок⁷. Во-вторых, неудовлетворительное (если согласиться в этом с автором) изучение тувинского шаманизма (шаманства) объясняется рядом частных, субъективных причин, а не идеологической борьбой с религией.

В СССР была одна и та же идеологическая атмосфера, и она не мешала публикации интересных, глубоких работ по шаманству. С.П. Толстов в 1947 г. обосновал важное идеологическое значение исследований в области шаманства: «Нельзя не отметить значительного отставания некоторых важных разделов этнографической науки – в частности, разработки теоретических проблем истории первобытной религии. Например, теоретически не исследованными остаются обширные материалы по сибирскому шаманству... А мы должны отдавать себе отчет в том, какое значение имеют исследования в области истории первобытной религии и ее конкретных проявлений и пережитков у различных народов для дальнейшей разработки общего марксистского учения о религии...»⁸.

В послевоенные годы практически ежегодно в свет выходили новые добротные работы о шаманстве, в том числе и о тувинском. Да, можно было сделать больше, но помехой была не идеология, а плохая организация работы: отсутствовала общая программа исследования, каждый ученый двигался вперед в одиночку. И как только И.С. Вдовин в 1970-е годы поставил перед группой специалистов задачу совместного изучения сибирского шаманизма, был сделан значительный вклад в осмысление проблемы⁹.

Другой пример – суждения одного из коллег об особенностях экспедиционной работы в советские годы. Он убежден, что этнографы стремились ехать «в поле» подальше от столицы: «Нет, нужно ехать к юкагирам. И вообще, чем дальше едешь, тем лучше. Так было и раньше. С этим был связан статус ученого. "Далеко" могли ехать только избранные. Скажем, на Чукотку далеко не каждый мог поехать. А уж на борт "Витязя" исследовать Океанию могли отправиться только особенные люди»¹⁰. Перед нами типичный образец такого нового мифа. Здесь все выдумка.

Не буду останавливаться на том, что этнографы в зависимости от специализации и задач ездили и недалеко, включая и области Центральной России. На Чукотку мог поехать любой сотрудник Института этнографии, если он хотел расширить профессиональный кругозор. В дальних экспедициях широко участвовали и люди со стороны, желавшие увидеть страну; они работали фотографами, художниками, готовили еду для занятых своим делом сотрудников отряда. Что касается легендарной поездки в Океанию, то и здесь автор не знает, о чем говорит. Я был участником обоих рейсов «Дмитрия Менделеева» и могу объяснить, как происходил подбор членов этнографического отряда. Для этой поездки нужны были специалисты по Австралии и

Океании. Но океанистов и австраловедов в Институте нашлось только двое – Н.А. Бутинов, Д.Д. Тумаркин, а этнографам предоставили восемь мест. Поэтому в отряд были включены специалисты по другим регионам, способные принести пользу в такой поездке. Таким образом в 1971 г. в составе экспедиции оказались китаист М.В. Крюков, славист Б.Н. Путилов, африканист Н.Н. Гиренко. Я на свой вопрос «Нет ли надежды на участие?» вначале получил решительный отказ, но через два-три месяца, к моему удивлению, ученый секретарь по международным связям сама спросила, действительно ли я хочу поехать. Мне повезло скорее всего из-за того, что мог объясняться по-английски. И еще я обещал снять этнографический фильм. По тем же самым причинам в 1977 г. на борт «Дмитрия Менделеева» взойшли африканист Е.В. Кальщиков и социолог В.Н. Шамшуров. Надо сказать, что выбор людей для экспедиции был удачен: каждый из нас потом отчитался о своей работе публикациями¹¹. А Б.Н. Путилов настолько увлекся Океанией, что занялся изучением океанийского фольклора¹².

Влияние новой идеологии сегодня сказывается и в повышенном внимании группы наших коллег к идеям и фразеологии зарубежных течений. Как счастливое озарение, например, нам преподносится мысль, заимствованная из западных работ: «этносы... существуют исключительно в умах историков, социологов, этнографов»¹³. Ряд наших специалистов пропагандируют агностический тезис о якобы невозможности понять иную культуру. Эта, с позволения сказать, концепция, чуждая опыту отечественной науки, также выхвачена из потока западной литературы.

Ориентация на западные стандарты нашла свое выразительное воплощение и в нашем профессиональном языке. За примерами недалеко ходить. Прежде всего это переименование нашей науки или, говоря словами В.А. Тишкова, «модернизация названия». Я уже высказывал свое полное неприятие этой «модернизации», которая возвращает к жизни давнее нелогичное, надуманное противопоставление науки описательной науке теоретической, обобщающей¹⁴. Напомню, что С.П. Толстов, репутация которого как крупнейшего теоретика советской этнографии непоколебима, несколько десятилетий назад отмечал, как бы предвидя, что третьесортный продукт европейской мысли может когда-то вновь привлечь чье-то внимание: «Вообще деление наук на теоретические и описательные несвойственно русской, а тем более советской науке. Если оставить в стороне такие разделы естествознания, как, например, теоретическая физика, и весь комплекс философских наук, мы не можем провести сколько-нибудь существенного разграничения между теоретическим и описательным аспектом любой естественной или гуманитарной науки»¹⁵.

Конечно, можно принять точку зрения, что наименование нашей дисциплины – «вопрос не столь уж принципиальный и в значительной мере зависит от индивидуальных вкусов»¹⁶. Но можно взглянуть на игру в слова иначе. За названием нашей науки, как и за названиями рек, городов, деревень, улиц, стоит сама российская история, и отказ от названия «этнография» ради приспособления к западным образцам есть демонстративное пренебрежение национальной традицией. Печально, что в нашей среде послушно (а кое-кто и с энтузиазмом) приняли эту смену культурной установки.

Есть и другие примеры ненужной, неоправданной существом дела языковой «вестернизации». Уже два десятка лет по печатным страницам «гуляет» уродливое словосочетание «этническая идентификация», выдаваемое за устоявшийся термин. Что такое «идентификация»? Всего лишь непереведенное английское слово. Сказать «этническое самосознание», «этническое самоопределение» или как-то иначе, но по-русски, не хотят: не так научно звучит. В 1970-е годы или раньше в Институте этнографии было рождено и другое новшество производственного жаргона: «межпоколенная трансмиссия». Этот образец безвкусицы, вызывающий в воображении зубчатое колесо или коленчатый вал, должен обозначать преемственность культуры. Когда М.С. Горбачев освоил слово «парадигма», оно понравилось и вошло в моду и в журналистике, и в общественных науках, в том числе в этнографии, хотя

нужды в нем нет – оно не несет в себе ничего нового. В последнее время жаргон обогатился и иными приобретениями. Так, в Институте этнологии и антропологии возникла группа «этнологического мониторинга». Разве нельзя было сказать по-русски, что делают эти люди? «Мониторинг» – наблюдение, отслеживание, контроль. Так что перевод возможен, как и в случае с созданной в Институте «гендерной группой». Однако кое-кто из коллег просто упивается звучанием иностранных слов. Некоторые авторы щеголяют сравнительно недавно внедренным выражением «академический дискурс» (это обмен мнениями, беседы, обсуждения, споры). Число подобных примеров велико: имплицитный, релевантный, примордиалистский... А С.В. Соколовский даже цитирует по-английски: «... Эмпиризм сегодня стал слишком модным и способствует прежде всего тому, что В.А. Тишков называет *politically relevant research*»¹⁷. Такую глубокую мысль, видимо, невозможно передать русскими словами.

Это пристрастие к иностранным словам и словосочетаниям, конечно же, отражает давнюю слабость прикоснувшихся к образованию людей – так хочется покрасоваться ученостью! Говоря словами героини чеховской пьесы, «они хотят образованность свою показать и всегда говорят о непонятном». С подобной имитацией учености связано и другое: дешевая словесная мишура, коверкающая русский язык, ясно показывает, каковы культурные предпочтения тех, кто думает возвысить себя чужим словом. «О непонятном» говорят на иноземный манер, соединяя представление об учености и глубине знаний с языком не своей культуры. Если бы И.С. Тургенев услышал нынешний «научный» жаргон, он не смог бы назвать его языком великого народа. Нет, это язык мелкого служащего, который изображает из себя значительную фигуру и с этой целью усердно подражает в речи хозяину.

Насыщение профессионального языка этнографов английскими словами, очень робко проявлявшее себя в 1970-е годы, в последние 5–10 лет вошло в моду. Оно стало показателем приобщения к «цивилизованному миру». Кучка «интеллектуалов» создает свой пиджин-инглиш. Как здесь не сказать вслед за А.А. Зиновьевым: «Это чисто колониального типа явление...»¹⁸. Увлечение работающих в научных учреждениях людей иностранным словом сродни деятельности средств массовой информации, которые внедряют в обиходную речь и ненормативную лексику, и «одессизмы», и бесчисленные английские заимствования. Разрушение русского языка приобрело столь угрожающие масштабы, что вызывает вполне понятную тревогу в российском обществе. Прошедший 30 мая 1997 г. в Москве конгресс российской интеллигенции «В защиту национальной культуры» принял специальную резолюцию «О проблемах русского языка»¹⁹. Даже Б.Н. Ельцин во время посещения Санкт-Петербурга в 1997 г. счел нужным говорить о необходимости защищать русский язык.

Итак, современный период кардинальных общественных перемен весьма располагает к переосмыслению и событий истории, и привычных мировоззренческих ценностей, и самих основ ушедшей в прошлое жизни. В связи с этим представляется полезным еще раз уяснить для себя, каковы главные особенности наследия, созданного отечественной (русской, советской) этнографией. Я не ставлю перед собой задачу сказать что-то существенно новое. Моя цель – напомнить о том, что в общих чертах хорошо известно.

Свое начало российская этнографическая наука ведет с XVIII в. Академический отряд Великой Северной экспедиции целенаправленно собирал сведения о жизни народов России. Одним из результатов работы экспедиции стала вышедшая в 1756 г. книга С.П. Крашенинникова «Описание земли Камчатской» в 2-х томах. В 1776–1777 гг. появился первый труд обобщающего или энциклопедического характера – книга И.Г. Георги «Описание всех в Российском государстве обитающих народов...» С этого периода начинается становление отечественной этнографической науки.

Естественно, что в русской этнографии получили отражение особенности жизни страны. Поэтому для формирования науки оказались важными следующие обстоятельства.

Огромные земельные пространства были населены разными по уровню развития и особенностям культуры народами. Пестрота народонаселения России определяла необходимую для сравнительных исследований широту видения предмета, обширный кругозор народоведения, сказывающийся даже в узких по теме и географическим границам исследованиях.

Во внутренней политике многонационального Российского государства отсутствовали этнические предпочтения. Русские как народ в целом не были возвышены над другими народами. «Положение русского народа... весьма мало отличалось от положения народов национальных окраин империи. Нередко оно было даже более тяжелым, особенно во времена крепостного права, когда, например, в XVIII в. многие русские поселенцы Сибири стремились уравнивать себя в правах с так называемыми инородцами, причисляя себя к категории "ясашных", т.е., обложенных только специальным натуральным налогом, значительно меньшим многочисленных феодальных податей и повинностей, которые несли русские крестьяне»²⁰. Как известно, в Прибалтике крепостное право было отменено почти на полвека раньше, чем в собственно России. Немецким колонистам, потянувшимся в Россию в годы правления Екатерины II и позже, давались льготы, о которых русский крестьянин не мог и мечтать²¹.

Отсутствие этнических предпочтений ясно отражено в «Уставе об инородцах», составленном М.М. Сперанским (1822 г.), в котором оседлые инородцы «приравнены к россиянам в правах и обязанностях», да и кочевые и бродячие инородцы «составляют особенное сословие в равной степени с крестьянским», имея лишь иной образ управления²². В отличие от уже принявших демократическую конституцию США, где нежелание белого общества жить по-добрососедски с индейцами стало принципом внутренней политики и обосновало уничтожение и насильственную депортацию еще не уничтоженных индейцев на бесплодные земли²³, российское или русское общество не отгораживало себя от «инородцев». Исторические традиции, сложившиеся еще в Киевской Руси, указывали другой путь: жить вместе. Присоединение новых земель – Кавказа, Средней Азии – никогда не имело целью изгнание или уничтожение коренного, нерусского населения.

Именно вследствие терпимости русских к «инородцам» в Сибири после присоединения ее к России численность аборигенного населения, в отличие от Америки, возросла. Б.О. Долгих определил общую численность коренных народов Сибири в XVII – начале XVIII в. в 236 275 чел. «В 1897 г. было 822 тыс. чел. коренного населения». Увеличение численности нерусского населения «с XVII по конец XIX в. произошло главным образом за счет бурят (в XVII в. – около 27,3 тыс., в 1897 г. – 289 тыс. чел.), якутов (в XVII в. около 28,5 тыс., в 1897 г. – 226 тыс. чел.), а также сибирских татар (увеличение численности с 17 до 53 тыс. чел.), алтае-саянских тюркоязычных народов (с 16,7 до 108,8 тыс. чел.), чукчей (с 2,4 до 11,8 тыс. чел.)»²⁴. Численность ряда народов не изменилась или изменилась мало, некоторые этнические группы уменьшились в числе, но в целом произошел огромный прирост аборигенного населения. «Главной причиной роста численности ряда народов Сибири является усвоение ими от русского крестьянства, переселившегося в Сибирь, русской земледельческой техники, превращение преобладающего большинства этих народов в земледельцев, живших в значительной части тем же бытом, каким жили в Сибири и русские крестьяне. Это, а также прекращение после прихода русских кровавых межплеменных и межродовых столкновений... создали условия, при которых численность этих народов от естественного прироста увеличилась почти в такой же степени, в какой увеличивалась численность от естественного прироста и русских крестьян, поселившихся в Сибири»²⁵.

Предпочтения и ограничения в России существовали в области религии: православие было провозглашено официальной религией империи. Но эти предпочтения сочетались с веротерпимостью. При Елизавете правительство официально признало ламаизм религией, имеющей государственную поддержку²⁶. Со времен Екатерины II царская администрация неизменно покровительствует исламу, полагая, что мусуль-

манское духовенство будет способствовать поддержанию порядка в стране. Показателен случай из деятельности генерала Ермолова: посетив однажды Шушу, он прилюдно сказал по-татарски хану: «Я требую, чтобы к моему будущему приезду на месте этой развалившейся мечети была выстроена другая, которая соответствовала бы великолепию вашего дворца»²⁷. Безусловно, эти слова произвели благоприятное впечатление на местное население. Немцам-колонистам, преимущественно лютеранам, была обеспечена полная свобода вероисповедания. Ряд ограничений был связан с иудаизмом, но перешедший в православие еврей становился полноправным гражданином державы.

Еще недавно широко распространенное представление о насильственной и жестокой христианизации нерусского населения страны оказалось в значительной степени политическим мифом. Конечно, случаи чрезмерного усердия миссионеров известны, однако уже в XVII в. в правительственных наказах сибирским воеводам подчеркивалась недопустимость принудительного крещения: «А будет хто из ясных людей креститца своею волею, и тех людей велеть крестить, сыскав про них допряма, что своею ли волею они хотят креститца»²⁸ и т.п. Любопытно, что в самом начале прошлого века было обнародовано правительственное запрещение посылать к «инородцам» проповедников без предварительного согласования с губернатором: администрация считала главной задачей избежать волнений среди населения страны²⁹. Христианизация «инородцев» шла, как правило, путем разъяснений, увещаний. Это безусловно относится к XIX в. Часть марийцев вплоть до наших дней так и осталась язычниками; это было бы невозможно при насильственной христианизации. Пожалуй, действительные трудности испытывали свои, русские, – отошедшие от церковного православия старообрядцы и сектанты (духоборы, молокане). Манифест 1905 г. провозгласил свободу всех религий.

Особенностью российской жизни был огромный интерес самых разных слоев общества к этнографическим знаниям. Не было периодического издания, в котором не помещались бы регулярно сообщения об обычаях не только нерусских народов, но и, как позволяли себе говорить в прошлом столетии, «туземцев Калужской губернии», т.е. русских, повсеместно сохранявших местные черты в культуре. Уместно вспомнить, что интерес к этнографическому изучению русского народа возник в России позже; считалось, что и так все известно³⁰. Это желание общества знать больше обо всех народах страны было великолепным стимулом для развития профессиональной науки и способствовало накоплению этнографических сведений усилиями самых разных людей, в том числе и далеких от целенаправленной исследовательской работы.

Наконец, важно отметить, что русская этнографическая наука «находилась в постоянном взаимодействии с мировой наукой...»³¹. Отечественные ученые откликались на все новшества зарубежной теоретической мысли; наиболее значительные работы переводились на русский язык. Появившиеся в конце XIX в. журналы «Этнографическое обозрение» и «Живая старина» оповещали читателя не только о вышедших книгах, но и о журнальных и газетных материалах. Особенно хорошо библиографическая работа была поставлена в журнале «Этнографическое обозрение»; уровень профессиональной культуры, с которой велась эта работа, оказался недосягаемым для отечественной этнографии всего последующего периода и тем более наших дней. Этот журнал остается для нас образцом этнографического периодического издания.

Бурное развитие отечественная этнография получила в советский период. Историкам науки придется еще не раз размышлять над тем, почему в годы жестоких политических репрессий и слежки за чистотой мировоззрения наша наука пережила столь яркий расцвет. Масштабы и мощь этого расцвета могут удивлять, потому что препятствия для свободной работы ученых были велики. Впервые российская наука испытала бесцеремонный идеологический натиск со стороны государственной машины – и в виде марризма и в виде формального марксизма, предписывавшего ученым изыскивать классовые противоречия даже в обществах охотников и рыболовов

тундры и тайги. Неоправданные даже задачами политической борьбы репрессии, смысл которых и сегодня не вполне понятен, не прошли мимо этнографии: наука потеряла немало талантливых специалистов³².

Тем не менее 1920-е и последующие годы – это время оживленных полевых работ, обогативших этнографию фактическими материалами непреходящей ценности; это и время интереснейших поисков в области теории, период напряженного движения научной мысли. Это время классических работ и крупных ученых. Причины столь плодотворной научной жизни многообразны. Немалую роль сыграла простая преемственность: в науке остались или в нее пришли люди, приобретшие опыт исследовательской работы или получившие образование еще в дореволюционное время; они передавали свои знания и культурные ориентиры молодежи.

Вместе с тем гораздо более важную причину следует видеть в сложившихся условиях общественной жизни. Этнография была прочно поставлена на государственную службу. В стране была провозглашена задача построения социализма, т.е. направленных преобразований в жизни всех народов страны. В целях создания нового общества надлежало знать, в каких конкретных условиях предстоит строить иную, свободную от социальных противоречий жизнь. Национальная политика партии требовала точного знания границ этнических территорий; здесь были нужны этнографы.

Как писал С.П. Толстов, «задачи, выдвинутые перед нашей наукой советской эпохой, намного превосходили те возможности, которыми располагали унаследованные от дореволюционного прошлого кадры русских этнографов. Этим объясняется то внимание, которое с самого начала уделяется советским государством проблеме этнографических кадров»³³. Сразу по окончании гражданской войны создаются первые в нашей стране центры этнографического образования – в Ленинграде и Москве. Оживленная работа в области этнографии разворачивается как в Академии наук, так и в ряде внеакадемических учреждений – в системе Комитета Севера, Института народов Севера, в Институте изучения этнических и национальных культур народов Востока, в многочисленных музеях страны³⁴.

В советский период была достигнута эффективная организация научных исследований, которая сразу же сказалась на качестве работы. Государство достаточно щедро субсидировало науку. Невиданный размах приобрели археологические и этнографические исследования. Одним из примеров огромного масштаба работ может служить созданная С.П. Толстовым Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция, 50-летие которой мы отмечаем в 1997 г.³⁵

Этнографы ощущали, что их работа нужна обществу, приносит стране практическую пользу, способствует развитию культуры, и с увлечением работали, в частности подготавливая научные обоснования для определения административных границ. Этнографы отдавали много сил и благородной практической задаче подготовки национальных кадров. Мы помним, что почти все специалисты, выходцы из «коренных» народов республик, были воспитаны в Москве и Ленинграде. В среднеазиатских республиках этнографические работы были развернуты благодаря европейским, прежде всего русским исследователям. Так, фундаментальные основы этнографического изучения Таджикистана были заложены М.С. Андреевым, А.К. Писарчик, Е.М. Пещеревой, Н.А. Кисляковым, О.А. Сухаревой, Н.Н. Ершовым, Б.Х. Кармышевой, Л.Ф. Моногаровой.

Говоря о своеобразии идеологической жизни в стране, нельзя забывать, что она несла в себе противоречивые начала. Идеологические установки, с одной стороны, сковывали творческую мысль, а с другой, нацеливали людей науки на самостоятельные поиски, на смелость первопроходцев. Общественная мысль в СССР вдохновлялась убеждением: наша страна идет своим путем, которым еще никто не шел; у нас иначе устроено хозяйство, иные отношения между людьми; у нас свое искусство, которое принадлежит народу, и своя наука, основанная на передовой методологии. Это ощущение своего особого пути поддерживало творческий энтузиазм.

Расцвет науки, как и успехи в других сферах общественной жизни, должны были

показать преимущества советского строя. Руководивший страной аппарат ожидал от ученых ярких достижений и поддерживал условия, необходимые для нормальной работы. И эти достижения были. Одним из лучших результатов работы советских этнографов явилась созданная под руководством С.П. Толстова 17-томная серия «Народы мира». Эти труды, прежде всего посвященные народам Советского Союза, неопровержимо показывают, что к послевоенному периоду наша этнография достигла высокого уровня. Ничего подобного томам «Народы Средней Азии и Казахстана», «Народы Кавказа», «Народы Сибири» и ряду других книг этой серии не было создано прежде ни у нас, ни за рубежом.

Послевоенный период был самым плодотворным для отечественной этнографии. Основательная подготовка этнографов обеспечивала высокий профессиональный уровень работы. Продолжалось накопление нового фактического материала. При этом задачи создания историко-этнографических атласов определили особенности методики, требовавшей сбора сопоставимых сведений на всей территории расселения этноса. Во многих регионах страны еще жили, в разной степени сохранности, исконные этнические традиции, и этнографы ждали «в поле» новые открытия. Так, Средняя Азия, включенная в состав России лишь в 1860–1880-е годы, была открыта этнографической наукой преимущественно в послевоенное время. Публикации, основанные на новых полевых материалах, показывают широкое разнообразие тематики и отражают интерес исследователей ко всем сторонам жизни народов. Этот период характеризуется работами, посвященными тщательному рассмотрению отдельных элементов этнической культуры; монографическими (по возможности, всесторонними) описаниями отдельных народов или их групп; углубленным изучением современности, нашедшим свое отражение в так называемых «колхозных монографиях». «Лицо» нашей науки также определялось и трудами, обобщавшими обширный круг этнографических сведений.

Здесь не перечислить все, что желательно для полноты картины. Упомяну лишь как пример несколько хорошо известных публикаций: пятитомник «Очерки общей этнографии» (1957–1961); серия «Народы мира» (1950–1960-е гг.); «Историко-этнографический атлас Сибири» (1961); «Русские. Историко-этнографический атлас» (1967); «Современные этнические процессы в СССР» (1977); серия «Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы» (4 книги, 1973–1983); «Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии» (2 книги, 1985; 1989) и «Календарные обычаи и обряды народов Юго-Восточной Азии. Годовой цикл» (1993); «Семейный быт народов СССР» (1990); серия книг, посвященных этнической истории китайского народа (1978–1993)³⁶; серия книг об институте брака у народов зарубежной Европы (1988–1990)³⁷.

В послевоенные годы был сделан фундаментальный вклад в этнографическое изучение русских. Достоянием науки стали такие крупные работы, как «Восточно-славянский этнографический сборник» (1956), включивший в себя три монографии (Е.Э. Бломквист «Крестьянские постройки русских, украинцев и белорусов», Н.И. Лебедева «Прядение и ткачество восточных славян», Г.С. Маслова «Народная одежда русских, украинцев и белорусов в XIX – начале XX века»); В.А. Александров «Русское население Сибири XVII – начала XVIII в. (Енисейский край)» (1964); «Кубанские станицы: Культурно-бытовые и этнические процессы на Кубани» (1967); «Быт и искусство русского населения Восточной Сибири» (Ч. 1: Приангарье, 1971; Ч. 2: Забайкалье, 1975); Г.С. Маслова «Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник» (1978); М.М. Громыко «Традиционные нормы поведения и формы общения русских крестьян XIX в.» (1986) и «Мир русской деревни» (1991); «Этнография восточных славян» (1987); Л.Н. Чижикова «Русско-украинское пограничье» (1989); С.Р. Будина, М.Н. Шмелева «Город и народные традиции русских» (1989); «На путях из Земли Пермской в Сибирь» (1989) и многие другие.

В послевоенный период сложились новые направления: этнографическое изучение города, этнография детства, исследование традиционного этикета. Область этно-

графических интересов прочно включила в себя ономастику. 1970–1980-е годы отмечены созданием смежных с этнографией дисциплин – этносоциологии, этнопсихологии и других.

Этнография в нашей стране прошла сложный путь развития. В непростых условиях своего существования отечественной наукой создано огромное интеллектуальное богатство, которое вызывает законную гордость у каждого, кто чувствует свою связь с предшественниками и дорожит ею.

Каковы же отличительные особенности нашего бесценного наследия – отечественной этнографии? Перечислю главное.

1. Территориальная широта охвата народов, подлежащих изучению. Как говорилось, здесь сказались особенности России, раскинувшейся от Балтийского, Черного и Северного морей до Тихого океана. Самой историей в ведение науки были предоставлены все народы, обитающие на шестой части земельных пространств планеты. Сама реальность требовала широкой картины отображения. Интересы российской этнографии выходили далеко за пределы государственных границ. И в прошлом, и в нынешнем веке наши ученые использовали любую возможность, чтобы приобрести новые и новые достоверные знания о народах всего мира – как путем непосредственных наблюдений, так и через литературу. Планетарный масштаб исследований отечественной этнографии убедительно проявил себя в дореволюционный период, но особенно отчетливое выражение получил в советское время. Всеохватывающим масштабом интересов наша этнография отличается от науки в таких странах, как Финляндия, ориентированной большей частью на изучение финских народов, и Турция, где этнография по существу есть краеведение. Такая масштабность – огромное преимущество нашей этнографии. Она дает необходимую для науки широту понимания явлений культуры.

2. Исторический подход. Вопреки прозвучавшим в последние годы утверждениям, что историзм навязан этнографии внедренным в советское время марксизмом, он был в России давней отличительной чертой и этнографии, и родственных ей наук – археологии, фольклористики. И хотя этнография вначале обрела свое официальное место в системе географической науки, само понимание, что культура изменяется с ходом времени и с изменением условий жизни, было присуще отечественной науке с самых первых ее шагов и не подвергалось сомнению. Из такого убеждения исходила при всей ограниченности ее метода уже «мифологическая школа».

Изыскания блестящего ученого А.Н. Веселовского, в частности в области славянских сказаний, основаны на сравнительно-историческом методе. Этот метод пропагандировали М.М. Ковалевский, В.Ф. Миллер. Для Д.Н. Анучина «этнография... была отраслью исторической науки, и методы, которыми он работал в области этнографии, были методами историческими. Его метод был историческим в гораздо большей степени, чем псевдоисторический метод, которым работали ученики Ратцеля в Германии»³⁸. Интересно, что это прекрасно понимали некоторые зарубежные ученые, знакомые с историей России и с русской этнографией. Так, Э. Геллнер в связи с заявлениями советских этнографов, что их наука исторична, писал: «Они могли бы добавить, что ощущение исторической глубины и преемственности не есть только следствие марксизма, но также и глубоко укоренившаяся русская интеллектуальная традиция»³⁹.

3. Широта проблематики этнографического исследования – от современности до первобытности. Такой размах в тематике опять-таки сложился под влиянием российских условий. Если в европейской части страны у ряда народов в XIX в. в жизнь проникали капиталистические отношения, то в Сибири и на Европейском Севере культуры аборигенных народов и в начале XX в. сохраняли черты, восходящие к каменному веку. Изучение современного быта этих народов по самой сути явления обязывало к изысканиям в области ранней истории человечества. Необходимость сравнительного исследования, обобщений, поиски закономерностей в развитии культуры, вдохновленные эволюционизмом, – все это предопределило интерес этнографии

к общим проблемам становления культуры, которые выходят за рамки этнической специфики и составляют особую область, на которую ныне претендует культурология.

4. Как следствие проблемной широты в российской этнографии рано сложилась тесная связь с пограничными дисциплинами, предполагающая использование разных по характеру источников. И этот подход, позднее названный комплексным, был вызван к жизни многообразным предметом исследования. Изучение этногенеза и этнической истории, ставшее особой проблемной областью в советский период, требовало привлечения самых разных источников: письменных сочинений древности, археологических находок, данных языкознания, топонимики, ботаники и т.д. Изучение кочевничества также не могло опираться только на этнографические материалы. Когда и почему возникло кочевничество? Какими путями шло его развитие? Ответы на эти вопросы могли быть получены только при дополнении этнографических сведений археологическими. Не могло ограничиваться только своими источниками и изучение фольклора. В устном народном творчестве слышались отголоски реальных исторических событий; ряд сюжетов и мотивов объяснялся живыми обычаями некоторых народов; во многих случаях истоки фольклорных произведений могли быть поняты лишь при сопоставлении с литературными текстами.

Опора в исследовании на данные различных источников и методы разных наук давно стала ведущей чертой отечественной этнографии и родственных дисциплин. Уже С.П. Толстов замечал: «В ряде случаев не так просто и решить, к какой научной специальности отнести того или иного исследователя, – в такой мере насыщены бывают работы материалами и исследовательскими приемами и той, и другой»⁴⁰.

Для русской науки характерна фигура ученого, который был одновременно и этнографом, и фольклористом или археологом, а то и лингвистом, географом. Так, в становлении русской этнографии важную роль сыграл историк, юрист, философ, общественный деятель и публицист К.Д. Кавелин. Вспомним имена и других выдающихся ученых: Н.И. Надеждина – историка, этнографа, филолога, литературоведа, человека «замечательного ума и учености», проявившего себя в разносторонней научной деятельности; Д.Н. Анучина – зоолога, антрополога, географа, археолога, этнографа; В.В. Радлова – языковеда, этнографа, археолога, фольклориста; М.М. Ковалевского – историка, правоведа, этнографа, социолога; В.Ф. Миллера – филолога, этнографа, фольклориста; В.И. Даля – непревзойденного знатока русского языка, этнографа и фольклориста; Г.Н. Потанина – этнографа, фольклориста, географа, историка, ботаника и геолога; А.Н. Веселовского – историка литературы и фольклориста, исследователя с удивительно обширной эрудицией, постоянно обращавшегося в своих работах к этнографическим данным. Неотделимо от этнографии и яркое творчество Ф.И. Буслаева – языковеда, историка русской литературы, фольклориста, археолога и искусствоведа.

Советский период дополнил этот ряд новыми именами. Широко известен широчайший научный кругозор С.П. Толстова, С.А. Токарева, Н.Н. Чебоксарова. С.И. Руденко был археологом, этнографом, антропологом, географом и даже гидрологом, Д.К. Зеленин – этнографом, диалектологом, фольклористом, В.Н. Чернецов – археологом, этнографом, фольклористом, Г.М. Василевич, как и Н.И. Толстой, – этнографом, лингвистом, фольклористом. Творчество В.И. Абаева соединяет в себе историю, этнографию, лингвистику, фольклористику и литературоведение.

С.П. Толстов подчеркивал, что сложилась целая группа советских этнографов, которые стали одновременно и ведущими специалистами в области истории изучаемых ими народов. Так, этнограф и археолог Л.П. Потапов написал книги «Очерк истории Ойротии» (1933), «Очерки по истории Шории» (1936), «Очерки по истории алтайцев» (1948), «Краткие очерки истории и этнографии хакасов. XVII–XIX вв.» (1952) и другие работы по истории народов Южной Сибири. С.А. Токарев написал «Очерк истории якутского народа» (1940), Н.А. Кисляков – «Очерки по истории Каратегина» (1941). Этнограф Т.А. Жданко – один из соавторов работ «История Узбекской ССР» (т. I,

кн. 1 – 1955 г. и кн. 2 – 1956 г.), «Каракалпаки (краткий очерк истории древнейших времен до наших дней)» (1971), «История Каракалпакской АССР» (т. 1, 1974).

Немало этнографов в целях своих конкретных исследований проводили скрупулезное изучение обширных архивных материалов. Богатые архивные данные, дополненные сведениями, взятыми из литературы и полученными в ходе полевых работ, лежат в основе книг: С.А. Токарев «Общественный строй якутов в XVII в.» (1945), Б.О. Долгих «Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII веке» (1960) и «Очерки по этнической истории ненцев и энцев» (1970), В.А. Александров «Сельская община в России (XVII – начало XIX в.)» (1976) и «Обычное право крепостной деревни России (XVIII – начало XIX в.)» (1984), М.М. Громыко «Западная Сибирь в XVIII в. Русское население и земледельческое освоение» (1965) и «Трудовые традиции русских крестьян Сибири (XVIII – первая половина XIX в.)» (1975), З.П. Соколова «Социальная организация хантов и манси в XVIII–XIX вв. Проблемы фратрии и рода» (1983), Ю.Б. Симченко «Тамги народов Сибири XVII века» (1965), И.В. Власова «Традиции крестьянского землепользования в Поморье и Западной Сибири в XVII–XVIII вв.» (1984) и др. Итогом многолетней работы этнографа А.Л. Троицкой явилась книга «Каталог архива кокандских ханов XIX века» (1968).

Фольклор как часть народной культуры еще в прошлом веке был источником, неизменно привлекаемым для этнографических изысканий. Работы многих советских этнографов также окрашены глубоким интересом к фольклору. В народных преданиях этнографы находили указания на важные вехи этнической истории⁴¹, разного характера сказания рассматривались и как своего рода памятник, отразивший особенности народного мировосприятия⁴². Этнографами велась большая работа по собиранию фольклора разных народов⁴³; фольклорный и этнографический материал собирали также некоторые историки⁴⁴ и языковеды⁴⁵. Так, книга крупнейшего русского лингвиста тюрколога Н.А. Баскакова «Народный театр Хорезма» (1984) может быть с полным основанием отнесена к области фольклористики и этнографии.

В свою очередь и многие фольклористы (Б.М. и Ю.М. Соколовы, В.И. Чичеров, П.Г. Богатырев, В.Я. Пропп, Э.В. Померанцева, Н.Н. Велецкая, С.П. Балдаев и др.) выступали в своих работах как этнографы. Особенно показательна в этом отношении книга В.Я. Проппа «Исторические корни волшебной сказки» (1946), в которой автор рассматривает сказочный материал глазами этнографа-религиоведа. Другая его книга «Русские аграрные праздники» (1963) даже имеет подзаголовок: «опыт историко-этнографического исследования». Фольклористы В.Ю. Крупянская и Н.С. Полищук стали специалистами в сравнительно новой для нашей науки области – этнографическом изучении быта рабочих⁴⁶.

Тесная связь между этнографией и археологией в ряде случаев непосредственно проявляла себя как работа ученых и в той, и в другой родственных областях науки. Фигура этнографа и в то же время археолога представлена С.П. Толстовым, А.Н. Бернштамом, Д.А. Сергеевым, С.И. Вайнштейном, В.П. Дьяконовой, М.Г. Рабиновичем, Г.Е. Марковым, С.П. Поляковым и другими специалистами. Японист и кавказовед С.А. Арутюнов был одним из участников раскопок уникального памятника древней эскимосской культуры – «Китовая аллея»⁴⁷. Археолог А.П. Окладников – автор ряда интересных работ по этнографии якутов. Как и он, широко используют этнографический материал в своих археологических исследованиях Б.А. Рыбаков, Б.А. Литвинский, Ю.А. Рапопорт. Прекрасная книга этнографа Р.Ш. Джарылгашиновой «Древние когурёсы» (1972) основана на археологических материалах, эпиграфических данных и сообщениях древних китайских и корейских хроник.

Обзор научных интересов советских этнографов выявляет сочетание самых разных профессиональных занятий. Антрополог М.Г. Левин был также крупным этнографом-сибиреведом. Этнограф Л.И. Лавров посвятил немало лет разысканию, переводу и истолкованию эпиграфических памятников⁴⁸. В.И. Козлов – этнограф, картограф, демограф, а также специалист по экологии человека⁴⁹. Ю.И. Семенов – философ и этнограф⁵⁰, П.И. Пучков – этнограф, географ, картограф, демограф, религиовед.

Большая группа этнографов попробовала свои силы и в социологических исследованиях. Проводил этносоциологические исследования на Северном Кавказе видный кавказовед В.К. Гарданов. В.В. Пименову принадлежит этносоциологическое исследование удмуртов. В изучении современной семьи таджиков широко применяла массовый анкетный опрос Л.Ф. Моногарова. В то же время и социологи (Ю.В. Арутюнян, Л.М. Дробизева и др.) использовали социологическую методику для изучения этнокультурных процессов современности.

И, наконец, этнограф Ю.В. Кнорозов добился блестящих результатов в лингвистическом по существу исследовании – расшифровал иероглифы майя и перевел дошедшие до нас памятники их самобытной письменности⁵¹.

Приведенные здесь примеры, естественно, не представляют во всей полноте картину широких взаимосвязей этнографии с другими областями науки, но все же в общих чертах показывают богатое разнообразие профессиональных интересов, простирающихся далеко за пределы собственно этнографии.

5. К особенностям российской этнографии следует отнести и ее нацеленность на теоретические обобщения, на поиск исторических закономерностей. Это хорошо показал С.П. Толстов в статьях «Основные задачи и пути развития советской этнографии», «40 лет советской этнографии» и ряде других своих работ. Он подчеркивал: «Советские исследователи не ограничиваются установлением лишь исторической последовательности фактов, а вскрывают за ними проявление определенных **закономерностей исторического развития**»⁵².

Поиски исторических закономерностей и взаимосвязей велись советскими этнографами в самых разных областях. Научные интересы многих ученых были сосредоточены на изучении первобытности. В этой сфере попробовала свои силы целая группа теоретиков-этнографов – А.Ф. Анисимов, А.М. Золотарев, М.О. Косвен, А.Н. Максимов, С.П. Толстов, С.А. Токарев, А.И. Першиц, Ю.И. Семенов, Л.Я. Штернберг и др. Результаты исследований отражены в большой серии книг; среди них выделяется трехтомник «История первобытного общества» (1983–1988). Итоги изысканий многих предшествующих лет подведены в недавно вышедшей работе Ю.И. Семенова «Экономическая этнология. Первобытное и раннее предклассовое общество» (3 части, 1993). По оценке рецензента, «ни одна из вышедших за последние десятилетия на Западе книг по экономической антропологии ни по богатству фактического материала, ни по глубине теоретического анализа не может сравниться» с этой монографией⁵³.

Важное место в теоретической работе этнографов занимали проблемы социальной организации в ее историческом развитии. Продолжалось изучение общины, рода, семьи, а также систем родства и экзогамии. Была разработана концепция хозяйственно-культурных типов и историко-культурных областей. Исследовались закономерности развития форм хозяйства. Большое внимание привлекло к себе кочевничество, ставшее самостоятельной областью исследования⁵⁴. Изучался и вопрос о происхождении оленеводства.

Как особое направление теоретической мысли оформилось изучение этногенеза и этнической истории. С конца 1960-х годов началась углубленная разработка теории этноса, изучение типов и закономерностей этнических процессов⁵⁵. Продолжалось изучение религиозных верований. Среди аспектов, характерных для этнографического исследования религии, видное место занимают проблемы исторической преемственности традиций, синкретизма народных воззрений, проявляющегося даже в рамках мировых религий.

Сегодня в духе новой идеологической моды предпринимаются попытки принизить теоретическую значимость исследований 70-летнего периода. Вот один из примеров. Наш коллега пишет: «Ведь теперь-то можно уже не скрывать, что подавляющая часть этнографических публикаций в нашей стране насквозь эмпирична, никаких широких и глубоких обобщений в них нет, не говоря уже о попытках выявить какие-либо закономерности»⁵⁶. На мой взгляд, такое мнение отражает влияние моды, а не итог беспристрастного анализа. Не случайно об очевидном факте понадобилось

сообщать тоном такого разоблачения. Хорошо известно, что и зарубежные публикации в подавляющем большинстве также не несут в себе новых теоретических концепций, и это естественно. Теория делается неторопливо, постепенно, с накоплением необходимого фактического материала. Это знает каждый, кто имеет опыт исследовательской работы. А важность «эмпирических публикаций» разъяснялась авторитетными учеными уже почти столетие назад.

Напомню о статье А.Н. Максимова, который обращал внимание коллег на непрочность обобщений, сделанных этнографией в 1860–1870-е годы. А.Н. Максимов справедливо усматривал «одну из основных причин неудачи всех имевшихся до сих пор широких обобщений в области этнографии» в том, что «эти обобщения строились на слишком неполном фактическом материале... Для того чтобы строить широкие обобщения, нам не хватает подготовительных работ, обобщающих факты какой-либо одной группы племен или какой-нибудь отдельной части света»⁵⁷.

А.Н. Максимов подчеркивал «необходимость... возможно более детального изучения фактической стороны явлений, необходимость точно устанавливать пределы распространения той или другой культурной формы. Это на практике сводится к той монографической разработке этнографических данных, которая составляет одну из настоятельнейших потребностей нашей науки. Мы вступаем в такой период, когда, может быть, мало будет писаться на более широкие темы, но зато мы избавимся от прежних шатких обобщений. Вместо истории семьи и верований вообще у всего человечества будут детально изучаться семейные отношения или религиозные верования какого-нибудь одного определенного круга народов, но эти менее заметные, менее обращающие на себя внимание работы послужат фундаментом для полной перестройки всей системы этнографии»⁵⁸.

Подобные мысли высказывались и зарубежными учеными – А. Гумбольдтом, Ф. Боасом и др. Известный английский специалист М. Фортес указывал, что и советская, и западная наука (антропология, этнография, этнология) имеют «общую основу для всех наших исследований – основу, представленную эмпирическим изучением живых народов и обществ»⁵⁹.

Публикуя так называемые описательные работы, советские этнографы отчетливо понимали, что создают необходимую информационную основу для будущих обобщений, которые могут иметь важное теоретическое значение. Это считалось настолько очевидным, что нередко авторы не разъясняли читателю, каким целям могут послужить собранные ими сведения; всем всё было ясно. Но нередко подобного рода указания делались. Приведу несколько примеров из области среднеазиатской этнографии.

М.С. Андреев, которому наука обязана уникальными сведениями о древних религиозных традициях таджиков, подчеркивал, что эти материалы способствуют изучению архаических воззрений индоевропейских народов, так как горные таджики, «являясь... представителями одной из наиболее чистых арийских народностей, имеющихся в Средней Азии,... могли сохранить многое из очень старых верований»⁶⁰. Знакомя ученый мир с культом таджикско-узбекской святой Биби Сешамбе (Госпожа Вторник), сказание о которой поразительно напоминает западноевропейскую сказку о Золушке, он отмечал сходство Госпожи Вторник с русской святой Параскевой Пятницей, а также с Гольдой и Бертой немецких поверий: здесь «можно... не колеблясь, установить общность происхождения»⁶¹. Для исследования исторических корней различных жанров устного народного творчества важен тот факт, что западноевропейская сказка живет в Средней Азии как миф, тесно связанный с культом. К сожалению, этнографы и фольклористы прошли мимо этих материалов.

В 1927 г. Е.М. Пещерева опубликовала описание таджикского праздника цветов «Лола», указав, что он напоминает западноевропейский праздник мая. Теоретическое значение этих сведений было несомненным. С.П. Толстов с его необычайным исследовательским чутьем убедительно связал таджикский праздник с традициями культа умирающего и воскресающего божества плодородия («Древний Хорезм», 1948).

Позже, опираясь на дополнительные полевые материалы, Е.М. Пещерева сама дала истолкование празднику цветов: «По-видимому, этот обычай восходит к мистериям, связанным с почитанием умирающего и воскресающего божества природы. Божественный отрок убит, тело его растерзано и рассеяно по земле, а на местах, где лежат его останки, вырастают алые тюльпаны. Собираение тюльпанов, связывание их в букеты и украшение ими дерева символизировало, по-видимому, поиски его тела и соби́рание его воедино»⁶². С такой интерпретацией материала согласились Н.П. Лобачева и О.А. Сухарева⁶³.

Великолепную книгу Е.М. Пещеревой «Гончарное производство Средней Азии» (1959) не принято упоминать среди отечественных работ теоретической значимости. Между тем, сама Е.М. Пещерева в заключении своей классической по обстоятельности и достоверности описания работы писала: «Изложенный материал... позволяет сделать некоторые выводы и обобщения, имеющие, как нам кажется, общий теоретический интерес, относящиеся как к экономической стороне гончарного производства, так и к ремесленной организации гончаров. Прежде всего наш материал дает возможность проследить различные ступени развития гончарства при выделении и обособлении его в особое ремесло в условиях разлагающейся сельской общины и процесс превращения в самостоятельную отрасль производства»⁶⁴. Кроме того, исследование Е.М. Пещеревой показывает и закономерность, свойственную архаическим формам культуры: на ранних этапах своего развития материальное производство отнюдь не сводилось к техническому процессу, а было столь тесно переплетено с обрядовыми действиями, что принадлежало и к сфере ритуальной практики, являлось своего рода ритуалом.

Теоретическое значение имеют и «описательные» работы Г.П. Снесарева. В частности, его исследование пережиточных форм мужских союзов у народов Средней Азии⁶⁵ показало, что в прошлом у народов региона важную социальную роль играли возрастные группы, имевшие органы внутреннего самоуправления и свой неписанный устав, поддерживаемый системой штрафов и наказаний. Эти объединения строились строго по возрастному принципу. Исследование объединений мужской молодежи, позднее продолженное Р.Р. Рахимовым, дало науке еще одно свидетельство в пользу гипотезы о некогда широком распространении этого явления, присущего архаическим культурам многих народов мира.

Вполне возможно, что упомянутое выше особое мнение исходит из иного понимания сути теоретической работы. Что же, если теория – это рассуждения об этносах как умственных конструктах, о системах и структурах, о бинарных оппозициях и «культурных моделях», о смехе как «анти-поведении» и т.п., то таких концепций отечественная наука советского периода действительно не создавала. Если же теория – это обобщение правильно собранного фактического материала с попыткой определить тенденции исторического развития, взаимосвязи и взаимозависимости явлений, то отрицать нацеленность отечественной науки на такие задачи несправедливо.

В связи с рассмотрением важной теоретической значимости «описательных» публикаций заслуживает упоминания работа Т.А. Жданко, которая убедительно обосновала тезис о том, что на значительной территории расселения кочевых скотоводов Средней Азии и Казахстана никогда не было «чистого» кочевничества: там благодаря особенностям природных условий уже в древности сложились промежуточные формы и хозяйства, и образа жизни – полуседлые, полукочевые⁶⁶.

Неоценима для теоретического осмысления кочевничества и насыщенная фактическим материалом статья Б.Х. Кармышевой «Кочевая степь Мавераннахра...»⁶⁷, в которой впервые отчетливо показан механизм взаимодействия кочевого и оседлого населения Среднеазиатского междуречья. Это взаимодействие характеризовалось, с одной стороны, постепенным оседанием кочевников и полукочевников, с другой – сохранением присущего «кочевой степи» типа хозяйства, в продукции которого нуждались земледельческие оазисы.

Н.П. Лобачева, скрупулезно рассмотрев детали свадебной обрядности у разных

народов Средней Азии и Казахстана, пришла к заключению, что различия в ритуалах прямо связаны с принадлежностью этих народов к разному хозяйственно-культурному типу. «Материальное выражение обрядовых действий зависит от культурных традиций, основанных на преимущественном значении либо земледелия, либо скотоводства. Основным критерием для выявления различий в свадебных обрядах являются ритуалы религиозно-магического содержания»⁶⁸. Важную роль играют и этнические традиции.

«Эмпирические» исследования Л.Ф. Моногаровой позволили ей выявить важную социальную роль семейно-родственных групп (патронимий), оказывающих огромное влияние на жизнь отдельных семей. Семья в среднеазиатском регионе связана прочными узами с широким родственным кругом и в силу этого качественно отличается от семьи европейских народов»⁶⁹.

О.А. Сухарева в своем четырехтомном исследовании феодального среднеазиатского города⁷⁰ воссоздала для науки крупные исторические явления, свойственные обширному региону мусульманского Востока. Характерной особенностью среднеазиатского города (его «внутреннего строя») даже в позднее средневековье является сохранение пережиточных форм общины.

Примеры подобного рода можно без труда умножить. Обозревая обширную этнографическую литературу по Средней Азии и Казахстану, мы видим богатые результаты коллективных усилий большой группы специалистов высокой квалификации – ученых, которые неизменно ставили своей целью не только выявление особенностей культуры местных народов, но и разного уровня обобщения. То же можно сказать и о любой другой области отечественного народоведения.

Любопытно, что наблюдательные зарубежные коллеги высказывали достаточно высокую оценку нашей науки. Так, хорошо осведомленный Э. Геллнер писал: «Советский термин этнография... отражает или выражает способ, которым интеллектуалы в СССР думают о некоторых глубочайших проблемах их собственного общества и о его месте в системе явлений и в мировой истории. Размышления на эти темы могут быть охарактеризованы только как фундаментальная общественная мысль... По моим впечатлениям, лучшая фундаментальная общественная мысль в СССР может быть найдена в социальной антропологии [т.е. в этнографии. – В.Б.] и в истории; ее больше в этих областях, чем в некоторых других дисциплинах»⁷¹.

Неудивительно, что и в нашей профессиональной среде уничижительная оценка науки советских лет, думаю, не преобладает. С удовлетворением приведу слова Г.Е. Маркова: «...Советская этнография всегда особенно сильна была теоретической стороной своей деятельности. И я глубоко убежден в существовании в этом отношении превосходства нашей этнографии – этнологии над зарубежной антропологией»⁷².

Я не стал бы настаивать на превосходстве отечественной этнографии. Запад сделал огромный вклад в мировую науку. Лучшие работы зарубежных ученых заслуживают самого пристального внимания. Но сопоставление нашей и зарубежной науки – интересная тема. И в развитии идей, и в особенностях теоретической работы усматривается заметное различие между Россией и Западом. Прежде всего Запад всегда спешил с созданием теорий. Гипотезы и обобщающие идеи предлагались одна за другой, но довольно быстро забывались, так как оказывались недостаточно хорошо обоснованными. Один из примеров – «пралогическое мышление», приписанное «дикарям» Л. Леви-Брюлем.

Российская наука также не была бедна идеями. С.А. Токарев уже отмечал: «Обычно "теорию пережитков" приписывают английскому этнографу Тэйлору, но мало кому известно, что еще лет за 20 до Тэйлора почти те же взгляды развивал Кавелин»⁷³. В.А. Александров напоминал, что К.Д. Кавелин, в отличие от ученых, увлеченных поисками различных «влияний», считал необходимым изучать народные обычаи, исходя из истории народа, а не объяснять их бытование заимствованием даже в случае внешнего сходства с обычаями других народов⁷⁴. А.Н. Максимов, характеризуя творчество М.М. Ковалевского, подчеркивал: «Как историк первобытного

права, М.М. занимает свое совершенно самостоятельное и даже несколько обособленное место... Его работы имеют вполне самостоятельный характер, и он является... оригинальным автором... наряду с такими учеными, как Мак-Леннан, Морган, Пост, Бастиан, Липперт и др.»⁷⁵.

При этом в России и в СССР был другой стиль исследования, о котором так хорошо сказал С.П. Толстов: «Свойство русского стиля научной работы, сочетающего смелость и широту постановки проблем с придирчивой строгостью в требовании солидных фактических оснований для каждого обобщения...»⁷⁶.

В западной науке, напротив, довольно широко распространен тип ученого, который освобождает себя от доказательств правильности выдвигаемых положений, а вещает, предлагая просто принять на веру то, что он изрек. Таков, в частности, К. Леви-Строс, работы которого приобрели множество поклонников и на Западе, и в нашей стране. В отечественной науке неприятие «методики» К. Леви-Строса уже было удачно обосновано Н.А. Бутиновым⁷⁷, поэтому здесь я лишь напомним об «аналитической» манере французского этнолога на примере его объяснения мифа об Эдипе.

«Что же выражает миф об Эдипе, истолкованный "по-индейски"?» – спрашивает К. Леви-Строс. Ответ: «Вероятно, что общество, исповедующее идею автохтонности человека... не может перейти к мысли о том, что каждый из нас рожден от союза мужчины и женщины. Это неодолимый барьер»⁷⁸. (Автохтонность здесь – это происхождение из Земли; мотив этот в фиванских мифах скрыт в этимологии имен Эдипа, Лая, его отца, Лабдака, его деда, которая намекает на хромоту, леворукость и т.п., – качества, в разных мифологиях присущие хтоническим существам, рожденным Землей⁷⁹.)

Согласимся, что намеки на мотив «автохтонности» в мифе об Эдипе есть. Но лишь намеки, отголоски. Сам-то миф как раз утверждает, что Эдип рожден от отца и матери, и вся трагедия героя в том, что он нарушил установленные обществом ограничения, – убив отца, женился на своей матери. Причем здесь «автохтонность»? Уберите из мифа невольные преступления Эдипа и его расплату за них – и мифа не станет. Не означает ли это, что нам не следует торопиться с восторгами по поводу гипотезы К. Леви-Строса? Ведь натяжка очевидна.

К. Леви-Строс приписывает мифу идеи, которых в нем нет: «...Миф об Эдипе дает логический инструмент, при помощи которого от первоначальной постановки вопроса – человек родится от одного существа или от двух? [и мы должны верить, что именно этот вопрос составляет содержание мифа? – В.Б.] – можно перейти к производной проблеме, формулируемой приблизительно так: подобное рождается подобным или чем-то другим? Отсюда становится очевидным следующее соотношение: переоценка кровного родства существует в обществе наряду с его недооценкой: стремление отвергнуть автохтонность существует наряду с невозможностью это сделать»⁸⁰. Научная ценность подобных «теоретических» комментариев по меньшей мере спорна. В самом деле в древнегреческом обществе была явственной «недооценка» кровного родства? И эта «недооценка» отражена в мифе об Эдипе, который самым решительным образом утверждает священную силу родственных связей? А в чем можно усмотреть невозможность «отвергнуть автохтонность»? Здесь всё – сплошная фантазия.

К. Леви-Строс отвергает саму возможность проверить себя с помощью свидетельств, показывающих, как изменялись акценты и логика мифа с течением времени: «...Наш метод избавляет нас от поисков первоначального или подлинного варианта, что служило до сих пор одной из основных трудностей при изучении мифологии. Мы, напротив, предлагаем определять миф как совокупность всех его вариантов. Говоря иначе, миф остается мифом, пока он воспринимается как миф»⁸¹. Но что здесь нового? И до К. Леви-Строса каждый серьезный исследователь стремился учесть всю совокупность вариантов, намереваясь разъяснить, каков утраченный смысл дошедшего до нас мифа. А отказ от поисков, условно говоря, «первоначального» варианта мифа в работе, затрагивающей методику исследования, просто неприемлем, если объявлять о

своей позиции так, как это делает К. Леви-Строс. Отвергая принципы исследовательской работы целого научного направления, добившегося очевидных успехов, следует объяснить, почему теперь они непригодны. Но К. Леви-Строс с легкостью пренебрегает этим элементарным требованием науки. Нашей русской (российской, советской) этнографии такая легкость чужда. Если бы цитированное выше сочинение французского специалиста обсуждалось на Ученом совете Института этнографии АН СССР в 1970–1980-е или более ранние годы, автору предложили бы продолжить работу над текстом и обосновать свои догадки с большей ответственностью. Российский рецензент, расхваливший читателю творчество К. Леви-Строса, не удержался от замечания: «К счастью, он непоследователен»⁸². Хороший комплимент для ученого, не так ли?

В отличие от представленной К. Леви-Стросом, скажем мягко, свободы суждений, в российской науке сложилась прочная традиция тщательно обосновывать выдвигаемые выводы и гипотезы. Примером заботы о необходимости разъяснить, на чем покоятся и теоретические заключения, и методические предпосылки, может послужить приобретающая мировую известность книга В.Я. Проппа «Исторические корни волшебной сказки»: в ней целая глава посвящена рассмотрению исходных позиций автора. Только однажды отечественную науку затронуло фантастическое учение – гипотеза Н.Я. Марра о стадийном развитии языков, в буквальном смысле слова насаждавшаяся административным путем. Но она и не была принята большинством исследователей.

Этнографическая наука советских лет знала и неудачные книги, и упущенные возможности, и запретные темы. Но в какой стране наука шла только правильным путем? Любителям выискивать изъяны в грандиозном научном наследии советского периода полезно не забывать, что и зарубежная этнография (этнология, антропология и т.п.) в течение XX в. развивалась непросто, в ней отвергались целесообразные методологические установки и приветствовались псевдонаучные идеи. Народоведение Запада, в особенности английская антропология, переболело отрицанием исторического подхода. Другая болезнь западной науки, еще не вполне ею преодоленная, – это увлечение фрейдизмом. Когда-нибудь историки культуры сумеют вразумительно объяснить, почему западной цивилизации нашего столетия так пришлось по душе изображение человеческого общества в виде скопища одержимых половой страстью самцов и самок. Здесь же отмечу, что никакое другое научное направление не дало таких доведенных до абсурда (пользуюсь выражением С.А. Токарева) крайностей, как фрейдизм. С.А. Токарев уже указал, обратившись к двум книгам Г. Рохейма, на ряд примеров этих крайностей – «совершенно необоснованные и граничащие с фантастической утверждения...»⁸³. Если кому-то оценка С.А. Токарева покажется пристрастной, предлагаю ознакомиться еще с одним произведением того же автора – «Афродита, или женщина с пенисом»⁸⁴. Это не «эмпирическая» работа. Напротив, здесь весь пафос в анализе фактического материала, но анализе своеобразном, не имеющем ничего общего с научным исследованием.

Еще одна болезнь, долго оказывавшая влияние на западную науку о народах, – европоцентризм. Даже такое здоровое и плодотворное направление как эволюционизм, давшее науке больше, чем многие другие течения, более или менее явно представляло венцом развития человеческой культуры европейскую цивилизацию. Только самосознание европейца позволило ввести в науку термины «дикость» и «варварство».

Несколько слов об идеологическом давлении, которое испытывала этнографическая наука в советский период. Сегодня некоторые авторы испытывают желание чуть ли не каждый шаг советского специалиста объяснять идеологическими предписаниями. На самом деле жизнь науки складывалась не совсем так, а чаще всего – совсем не так.

Во-первых, политический нажим на науку был неодинаковым в разные годы. В наиболее откровенном и грубом виде идеологическая дрессировка проявилась в период, охвативший десять с лишним лет перед Великой Отечественной войной. Как

писал С.П. Толстов, «период между 1929 г. и серединой 1930-х годов характеризуется полосой бурных теоретических дискуссий о предмете и задачах этнографии... Развертывается острая критика новейших школ зарубежной буржуазной этнографии и антропологии, в первую очередь – расистских течений разного рода и так называемой "школы культурных кругов", а также... буржуазно-националистических течений на отечественной почве... разворачивается борьба за овладение марксистско-ленинской методологией диалектического материализма»⁸⁵. Этот процесс нетрудно проследить, просматривая номера журнала «Этнография» (с 1931 г. «Советская этнография») за указанные годы. Но в послевоенные годы партийные идеологи в этнографию напрямую не вмешивались, и идеологические стандарты практически не сказывались на содержании конкретных исследований.

Чтобы не быть голословным, сошлюсь как на пример хотя бы на первый том «Трудов Института этнографии имени Н.Н. Миклухо-Маклая» (М.; Л., 1947). Здесь напечатаны две статьи, полюбоившиеся мне еще со студенческих лет: С.А. Токарев «Пережитки родового культа у алтайцев» и Л.П. Потапов «Обряд оживления шаманского бубна у тюркоязычных племен Алтая». В этих работах, как, впрочем, и в других, помещенных в этом томе, нет признаков желания авторов объявлять о своей идеологической лояльности и объяснять, чем, с точки зрения марксизма, интересны или полезны результаты их исследования. В статьях Сергея Александровича и Леонида Павловича нет ссылок на классиков марксизма-ленинизма, нет идеологических спекуляций. Авторы рассматривают и интерпретируют собранный ими конкретный материал.

Другой пример – труд Б.О. Долгих «Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII веке» (1960). И здесь ученый объясняет читателю свою задачу без обоснования важности работы ссылками на «Капитал» или призывы очередного пленума ЦК КПСС; это не помешало Институту опубликовать его книгу. Мы найдем в ней одну ссылку на Ф. Энгельса в связи с определением, что такое фратрия (с. 8), но такую ссылку – по делу – напомнить о взглядах предшественников – мог бы сделать и не стесненный своими идеологическими ограничениями американский (немецкий и т.д.) специалист. В книге В.П. Кобычева «Поселения и жилище народов Северного Кавказа в XIX–XX вв.» (1982) нет упоминаний о классиках или решениях партийных съездов.

Еще одна, буквально взятая наугад книга, – Г.П. Снесарев «Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма» (1969). Здесь речь идет о местных особенностях религиозной идеологии, чуждой марксистскому материализму, и ловкий человек мог бы на нескольких начальных страницах разъяснить, сколь велика мировоззренческая значимость данного исследования. Однако мы увидим в книге лишь сделанное мимоходом упоминание о задачах атеистического воспитания и одну цитату из сочинений Ф. Энгельса – верное замечание о том, что «религия всегда сохраняет известный запас представлений, унаследованный от прежних времен»⁸⁶. Перечень такого рода примеров можно без труда продолжить.

Во-вторых, в разговорах об идеологическом давлении нередко упускается из вида другая сторона дела: многие ученые противостояли этому давлению, ускользали от него. Они желали думать самостоятельно и делать те выводы, к которым их подводил анализ конкретного материала. Этого требует от специалиста сама суть научного исследования. И талантливые люди исполняли свой профессиональный долг, исходя из потребностей науки, а не из идеологических директив. К тому же этнография, как и археология, предоставляла ученым обширные области знаний, лежащие вне воздействия идеологических стандартов.

В советской этнографии уже в довоенные годы сложилась творческая атмосфера, предполагавшая научный поиск, развитие идей и отказ от постулатов, не подтвержденных фактическими данными. Напомню слова С.П. Толстова: «Как в вопросах частной этнографии, так и в общих этнографических проблемах, наша наука, следуя основному положению марксистско-ленинской теории, гласящему, что "марксизм – не догма, а руководство к действию", чужда фетишизированию отдельных положений

учения Моргана и Энгельса о первобытном обществе»; «новейшие исследования советских этнографов показали, что... отдельные частные положения Моргана устарели и должны быть пересмотрены в свете новых данных...»⁸⁷.

Действительно, С.А. Токарев (1929, 1946) и А.М. Золотарев (1940) признали несостоятельность гипотезы кровнородственной семьи как стадии, предшествовавшей роду. Позже такое мнение поддержали М.Г. Левин (1951), С.П. Толстов (1951), Ю.И. Семенов (1959)⁸⁸. Было отвергнуто и мнение Л.Г. Моргана, что экзогамия возникла в силу осознанной необходимости предотвратить вредные последствия браков между кровными родственниками⁸⁹. Были признаны ошибочными и взгляды Л.Г. Моргана, признававшего групповой брак у гавайцев⁹⁰.

Высказывание другого классика нашей науки также показательное для понимания интеллектуальной атмосферы, свойственной этнографическим исследованиям советского периода: «Советские этнографы чтут и берегут традиции революционно-демократической науки. Идейное наследие корифеев русской передовой общественной мысли в области этнографической науки для нас представляет большую ценность. Но это не значит, что мы можем с пренебрежением отнестись ко всем прочим течениям и оттенкам этнографической мысли. Даже казенной, ведомственной этнографией царского времени мы пренебрегать не можем... Мы признаем большую ценность собранного ею богатого фактического материала. И казенная этнография, как и демократическая... были каждая по-своему заинтересованы в добросовестной фиксации действительных фактов». Это суждение опубликовано в известной и не подвергавшейся нападкам книге С.А. Токарева «История русской этнографии» (1966, с. 14). Столь широкое и терпимое отношение к научному достоянию иного «идеологического лагеря» было вполне обычно для этих лет.

В другой своей книге С.А. Токарев отметил вклад в науку З. Фрейда и его учеников, хотя поклонником их идей никогда не был: «Нечто положительное они в этнографию внесли, обратив первыми внимание на огромную роль подсознательного ("оно") в жизни и деятельности человека, а значит – и в формировании общественного быта и культуры...»⁹¹ и т.д.

Раз уж зашла речь о творческой атмосфере, сложившейся в советской науке, есть смысл привести слова А.А. Зиновьева, имеющие прямое отношение к теме: «Несмотря на все запреты, возможности были. И до сих пор, когда меня спрашивают, кем бы ты хотел быть, отвечаю: старшим научным сотрудником советской Академии наук. Самое высокое положение, какое только можно было себе вообразить! То есть я занимался творческой деятельностью, и для этого были самые большие возможности. То, что я сделал в советской Академии наук, мне не позволили бы сделать ни в одном западном университете»⁹².

А вот и мнение другого ученого – В.К. Буковского, который, как и А.А. Зиновьев, имеет возможности для сравнений. Он пишет об Англии, куда перебрался жить и работать: «Первое, что меня поразило, – уровень людей, занимающихся наукой. Очень посредственный уровень. Той интеллектуальной напряженности общения, того богатства интересов [как в Советском Союзе. – В.Б.] – ничего этого нет»⁹³.

Богатое разнообразие деятельности советских ученых умели заметить и некоторые зарубежные специалисты. Так, М. Фортез делился своими впечатлениями: «В советской этнографии нет такого явления, как унифицированная (не говоря уж о монолитной) система теории или практики. Несомненно, имеется структурная основа в виде, вольно говоря, марксистской ориентации. Но в том, что они делают, каковы их проблемы и процедуры исследований, советские этнографы, лингвисты, демографы и социологи столь же разнообразны в своих интересах и подходах, как и антропологи [т.е., этнографы, этнологи. – В.Б.] во всем мире»⁹⁴.

Тема идеологических ограничений неизбежно связана с вопросом: принес ли марксизм (не административно-командная система, а марксизм) вред отечественной этнографии? Этот вопрос следовало бы обсудить уже 5–10 лет назад, когда ясно проявилась тенденция части обществоведов к отказу от марксизма. Однако расставание с

марксизмом не вызвало широких дискуссий (отдельные публикации не меняют картины). Марксизм не столько оспорили, сколько замолчали. Не обнаружили склонности к обсуждению роли марксизма и этнографы-этнологи. Почему – понятно: не готовы к спорам. Сегодня марксизму трудно противопоставить что-либо солидное, способное занять место этой хорошо продуманной мировоззренческой системы. Даже такой привлекательный для некоторых коллег «современный доброкачественный релятивизм».

Выскажу свое мнение: марксизм не принес вреда отечественной этнографической науке, потому что он утверждает исторический подход, указывает на взаимосвязь различных сторон общественной жизни, поощряет широкое сопоставление фактических данных и необходимость рассматривать явления по возможности всесторонне и в развитии. Марксизм признает влияние надстроечных явлений на базис и относительную независимость разных форм общественного сознания. Разве эти положения не открывают простор для творческой мысли? Суждения классиков марксизма даже по частным вопросам обычно хорошо обоснованы и заслуживают серьезного внимания. Такое же или близкое мнение уже высказывали некоторые исследователи⁹⁵.

В связи с попытками дать оценку нашей науке советских лет недавно прозвучала мысль, что для многих этнографов марксизм был лишь своего рода неизбежной формальностью («фактически же идентификация с марксизмом для многих являлась пустой формальностью и равным счетом ничего не означала»; «...всеобщая "марксизация" нашей науки, начатая в 1930-е годы, была иллюзией даже в 1980-е годы» и т.д.; «марксизм в его "чистом" классическом виде так никогда и не был внедрен в советскую этнографию, и ее методология во многом основывалась на завуалированном марксистскими фразами эволюционизме. Дело ограничивалось в лучшем случае цитатами, интерпретациями руководящих указаний, а то и совершенно недобросовестными передержками идей основоположников»⁹⁶). Я бы воздержался от столь решительных суждений. Вопрос не так уж прост и требует специального рассмотрения.

Прежде всего, каковы критерии оценки? По каким признакам можно считать того или иного автора «чистым» или истинным марксистом? Раскроем книгу Г.П. Васильевой «Преобразование быта и этнические процессы в Северном Туркменистане» (1969). Хотя по своим задачам эта добротная сделанная работа и соответствует идеологическим стандартам тех лет, в ней нет даже ссылок на сочинения классиков марксизма. (А если бы и были, то скептики объявили бы их пустой формальностью.) Как же определить, хорошо ли знает марксизм Галина Петровна или плохо? Как узнать, читала ли она «Материализм и эмпириокритицизм»? Ведь мы не сообщаем в своих публикациях, что дважды два – четыре, но это не значит, что таблица умножения неизвестна. Ознакомившись с текстом, можно лишь признать, что Г.П. Васильева стоит на позиции исторического материализма и видит коренную причину многообразных и тщательно прослеженных ею изменений в жизни туркмен не в «коллективном бессознательном», а в социально-экономических преобразованиях.

Вопреки приведенным выше высказываниям, есть немало свидетельств, говорящих о том, что этнографы имели вполне отчетливое представление о методологических положениях марксизма, и согласие с этими установками можно обнаружить в самой логике исследований. Читатель помнит, что в статье Л.П. Потапова об оживлении шаманского бубна, как и в ряде других его публикаций, нет обращения к работам классиков марксизма. Значит ли это, что Леонид Павлович не был знаком с этими работами? Ну, конечно, нет. Он не только изучал их, но и деятельно пропагандировал, о чем недавно сам охотно вспоминал, беседуя с В.А. Тишковым⁹⁷. Нет прямой увязки полевого материала с теоретическим наследием марксизма и в упомянутой статье С.А. Токарева, но разве это о чем-то говорит? Просто здесь ему это не было нужно. А в ряде других работ, в частности, в книге «Ранние формы религии и их развитие» (1964), Сергей Александрович указывал, что опирается в своей классификации на теоретические положения марксизма, и доказывал это делом.

То же самое можно сказать и о Г.П. Снесареве. В упомянутой книге «Реликты...» он, похоже, не выглядит образцовым марксистом – всего одна ссылка на Ф. Энгельса на 300 с лишним страницах текста. Но Глеб Павлович знал и принимал принципиальные положения марксизма. В частности, в статье «О некоторых причинах сохранения религиозно-бытовых пережитков у узбеков Хорезма» (1957) он подчеркивал, что существование архаических религиозных воззрений и традиций среди узбеков обусловлено сохранением прежних социальных устоев – в первую очередь пережитками общины (элат) с ее древними нормами общественных отношений, восходящими даже к родовым традициям. «Элат с его замкнутостью, с особым внутренним укладом, построенным на старых традициях, с влиянием группы стариков является той ячейкой, в которой консервируются пережитки прошлого, будь то область религии или семейных отношений, той оградой, которая препятствует проникновению в отдельные семьи, связанные "общественным мнением" элата, новых взглядов на жизнь и новых норм поведения. В элатах имеются благоприятные условия для сохранения анимистических пережитков, магии, культа предков и святых, именно в них поддерживается традиционная свадебная и погребальная обрядность...»⁹⁸. Конечно, приведенных фраз еще недостаточно, чтобы аттестовать автора статьи как марксиста. Однако марксистская идея о социальной обусловленности религии выражена здесь достаточно ясно. А специалист, знакомый с научным творчеством Г.П. Снесарева в целом, вряд ли усомнится в том, что оно принадлежит, говоря словами М. Фортеза, ученому «марксистской ориентации».

Примеров такого рода множество, напомним лишь еще о двух книгах: Е.М. Пещерева «Гончарное производство Средней Азии» и О.А. Сухарева «Позднефеодальный город Бухара...» И здесь обращение к работам классиков марксизма отнюдь не было пустой формальностью. Оценки К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина упомянуты в связи с задачей рассмотреть место традиционных ремесел в общественном разделении труда, охарактеризовать особенности процесса превращения различных ремесел в самостоятельную отрасль производства.

Утверждение, что советские этнографы не имели серьезных познаний в марксизме, подкрепляется ссылкой на удивление «наших зарубежных коллег, которые неожиданно для себя не обнаруживали ничего сугубо марксистского в докладах советских ученых, звучавших на международных конференциях»⁹⁹. Но такая ссылка не имеет доказательной силы. Мнение зарубежных коллег может исходить из иного, чем у нас, понимания, как должен выглядеть доклад марксиста. Когда я в 1980 г. выступил с сообщением о среднеазиатском шаманстве в университете г. Кента, кто-то из английских коллег заметил, что в докладе представлен «фрэзеровский», а не марксистский подход. Мы объяснились. Оказывается, в докладе не был сделан анализ шаманства с точки зрения соотношения базиса и надстройки. Коллегу не убедило мое объяснение, что рассмотрение внешних условий, сохранивших шаманские традиции в рамках ислама, в задачу доклада не входило. Не случайно Э. Геллнер подчеркивал, что советский марксизм отличается от «завихрястого» западного¹⁰⁰.

Нет, обсуждая вопрос о марксизме, мы можем обойтись без ссылок на мнение зарубежных коллег и разобраться самостоятельно. Правильное, на мой взгляд, заключение уже было высказано С.А. Арутюновым: «Советские этнографы... вовсе не были внутренне скованы псевдомарксистской догмой. Ученые творчески применяли метод исторического материализма в той мере, в какой им это позволял официоз, пуще всего боявшийся действительно творческого приложения подлинного марксизма к анализу реальной действительности... Они широко использовали... весь методический и методологический арсенал современной этнологической мысли сообразно поставленной познавательной задаче»¹⁰¹.

Как и дореволюционное русское народоведение, советская этнография на всем протяжении своей короткой истории не была отгорожена «железным занавесом» от западной науки. При всем своеобразии идеологической жизни и демонстративном противопоставлении марксизма буржуазной науке, в СССР уже после гражданской

войны стали достаточно широко издаваться переводы сочинений наиболее крупных или известных зарубежных ученых: Э. Тайлора, Дж. Фрэзера, Ф. Боаса, Л. Леви-Брюля, З. Фрейда и других. В библиотеки регулярно поступали иностранные книги и периодические издания. В послевоенные годы переводы возобновились, как и нормальная работа библиотеки.

Многие советские этнографы (С.П. Толстов, А.Н. Максимов, С.А. Токарев, Л.Я. Штернберг, А.М. Золотарев, Е.Г. Кагаров и др.) хорошо знали зарубежную литературу. Они делились своими знаниями с коллегами, публикуя обстоятельные обзоры и рецензии¹⁰². В работах, посвященных рассмотрению общих проблем этнографии, обычно излагались различные точки зрения, в том числе и выдвинутые иностранными учеными. Один из лучших образцов такой работы – книга Ю.И. Семенова «Как возникло человечество» (1966). Выходили в свет и книги, представлявшие советскому читателю широкую картину основных теоретических направлений зарубежной этнографии, например, обстоятельная работа Ю.П. Аверкиевой об этнографии (антропологии) в США, и сегодня не утратившая своей познавательной ценности¹⁰³. При этом отечественной науке не было свойственно ощущение неполноценности, порождающее бездумное поклонение иноземным авторитетам. Напротив, характерная черта работ наших ученых – чувство достоинства уверенного в своих силах специалиста.

Важно также напомнить, что наши оценки работ зарубежных исследований далеко не всегда вдохновлялись марксистским подходом. Примерно с середины 1960-х годов произошла заметная либерализация идеологической жизни в СССР, и некоторые идеи западных течений получили распространение в отечественных общественных науках. Большой интерес вызвал так называемый структурализм, появились его последователи. Были опубликованы весьма одобрительные отзывы о творчестве далекого от марксизма эклектика М. Элиаде¹⁰⁴.

Зарубежная наука, в отличие от нашей, всегда плохо знала работы ученых России (СССР). Лишь немногочисленная группа специалистов, владевших русским языком, могла ориентироваться в нашей этнографической литературе. Отдельные попытки познакомить Запад с работами советских ученых делались и были замечены¹⁰⁵. С 1962 г. начал издаваться в США на английском языке журнал «Советская этнография и археология» (*Soviet anthropology and archaeology*), не получивший, к сожалению, в мире западной науки широкой известности; в нем публиковались переводы статей советских исследователей. В целом на переводы работ крупных советских ученых Запад оказался скуп. Ознакомьтесь, к примеру, со списком публикаций С.П. Толстова¹⁰⁶. Здесь, если не считать переводы, сделанные в ГДР и СССР, не так уж и много работ на иностранных языках.

Для российской (советской) этнографии характерно уважение к отечественному опыту, соединенное с убеждением, что ошибки предшественников должны подвергаться обстоятельной критике, дабы уберечь науку от следования ложными путями. Проявлением потребности знать этот опыт стал, в частности, 4-томный труд А.Н. Пыпина «История русской этнографии» (1890–1892).

После Великой Октябрьской революции идеологами «пролетарской диктатуры» были предприняты усилия, направленные на разрыв преемственных связей с наследием прошлого и в области культуры, и в общественных науках. Пренебрежительное отношение к работам предшественников отличало и учение Н.Я. Марра, и школу Н.М. Покровского, изображавшего российскую историю в искаженном виде. О том, насколько чуждыми были официальной идеологии 1920–1930-х годов традиции русской культуры, говорит следственный перечень программных установок группы осужденных ученых-славистов. Среди них, как доказательство контрреволюционного характера якобы существовавшей организации, названы: «Примат нации над классом... Истинный национализм, а отсюда борьба за сохранение самобытной культуры, нравов, быта и исторических традиций русского народа...»¹⁰⁷.

Лишь с конца 1920-х годов начинает постепенно происходить перемена в оценках:

официальная идеология стала благосклонно смотреть на признание преемственных связей между СССР и Российской империей. Великая Отечественная война, заставившая партийную верхушку открыть широкий путь проявления русского патриотизма, окончательно очистила общественную мысль страны от прежней нелюбви к русской культуре. И когда в годы правления Н.С. Хрущева и его преемников установка на русский патриотизм незаметно исчезла из идеологических лозунгов партии, возврат к откровенной русофобии первых послереволюционных лет не произошел.

Неблагоприятная идеологическая атмосфера могла, конечно, на время затруднить обращение советских этнографов к наследию русского народоведения, но не больше. Теснейшая связь дореволюционной и послереволюционной науки была обусловлена самим существом дела. Советские этнографы, изучавшие прежде всего народы своей страны, продолжали работу, начало которой было положено главным образом российскими учеными.

Признание важности преемственных связей в отечественной науке проявилось в многочисленных и разнообразных публикациях, которые стали выходить в свет и перед войной, и сразу после Великой Отечественной войны. Среди них видное место занимают переиздания записок российских путешественников, расширивших горизонты географических и этнографических знаний, – П.К. Козлова, И.В. Мушкетова, П.В. Певцова, Н.М. Пржевальского, Н.А. Северцова, П.П. Семенова-Тян-Шанского, А.П. Федченко и др. В 1947 г. были опубликованы материалы В.Ф. Зуева по этнографии Сибири XVIII в., в 1949 г. вновь напечатана книга С.П. Крашенинникова «Описание земли Камчатки». В 1950–1954 гг. вышло в свет пятитомное собрание сочинений Н.Н. Миклухо-Маклая, имя которого в 1947 г. было присвоено Институту этнографии. В 1950-е годы началась подготовка к изданию собрания сочинений Ч.Ч. Валиханова, опубликованного в пяти томах в 1961–1972 гг. С 1956 г. стали издаваться «Очерки истории этнографии, фольклористики и антропологии»; вышло десять выпусков. В 1955–1962 гг. в трех выпусках «Кавказского этнографического сборника» была напечатана обстоятельная работа М.О. Косвена «Материалы по истории этнографического изучения Кавказа в русской науке». В 1966 г. появилась «История русской этнографии» С.А. Токарева.

В том же 1966 г. вышла из печати книга Э.А. Масанова «Очерк истории этнографического изучения казахского народа в СССР», основное содержание которой связано с дореволюционным периодом накопления этнографических знаний. Неодним вкладом в науку стали работы Б.В. Лунина об исследователях Средней Азии, в том числе и об этнографах. Так, в 1962 г. вышла в свет его книга «Научные общества Туркестана и их прогрессивная деятельность. Конец XIX – начало XX в.». В 1974 г. увидела свет книга «Историография общественных наук в Узбекистане. Биобиблиографические очерки», в которую вошли сведения об ученых и краеведах, чья жизнь и деятельность протекала или начиналась в дореволюционное время. В 1976–1977 гг. событием в научной жизни стала его двухтомная книга «Биобиблиографические очерки о деятелях общественных наук Узбекистана», содержащая и обстоятельную информацию об этнографах. В последующие годы появились и другие работы Б.В. Лунина, посвященные истории изучения Узбекистана и Средней Азии в целом.

Вышло в свет несколько книг о крупных этнографах: С.Н. Иванов. Николай Федорович Катанов (1862–1922). Очерк жизни и деятельности. М.; Л., 1962; Х.Ф. Акрамова, Н.М. Акрамов. Востоковед Михаил Степанович Андреев. Душанбе, 1973; Н.И. Гаген-Торн. Лев Яковлевич Штернберг. М., 1975; А.М. Сагалаев, В.М. Крюков. Г.Н. Потанин: Опыт осмысления личности. Новосибирск, 1991; Благодарим судьбу за встречу с ним. О Сергее Александровиче Токареве – ученом и человеке. М., 1995 и др. «Тюркологический сборник. 1971» (М., 1972) – дань памяти одному из крупнейших ученых России В.В. Радлову.

Подведем итоги. Дать общую характеристику нашей российской этнографической науки за период, охватывающий около или свыше двух столетий, – задача сложная;

удовлетворительное выполнение ее возможно лишь при коллективных усилиях. С выхода в свет прекрасной книги С.А. Токарева «История русской этнографии» прошло сыше 30 лет. В российском обществе наших дней укрепились силы, которые настаивают на принципиальном пересмотре взглядов на историю России и ее культурное наследие. В этой новой обстановке нужны новые аналитические обзоры, дающие ответ на вопросы, которые раньше не возникали. Оценки работ минувших десятилетий требуют осторожности, тщательной выверенности суждений. Из публикаций нескольких последних лет видно, что не всем нашим коллегам удастся воздержаться от поспешных, пристрастных, не подкрепленных фактами заявлений. Вероятно, и в этой статье не все покажется читателю убедительным. Однако очевидно, что я не следовал социальному заказу охаивать деятельность нескольких поколений ученых, плодотворно работавших в советские годы.

Отечественной этнографией создано научное наследие столь богатое, что мы сегодня еще не в состоянии оценить его по достоинству, использовать его в должной мере в своих работах. Одна из насущных задач нашей науки (если она чудом сохранится в нынешний «переходный» период) – провести учет всего, что накоплено предшественниками, оживить библиографические изыскания, опубликовать наиболее ценные архивные материалы и переиздать лучшие этнографические труды, которые сейчас можно разыскать лишь в немногих библиотеках.

Разумеется, уважение к нашим национальным научным традициям не несет в себе отрицание ценности зарубежного опыта. Приходится повторять эту простейшую истину, потому что отдельным нашим коллегам нравится думать иначе. Вот пример: «... При попытках трансляции, скажем, опыта западной этнологии, в позу становится почвенническая группа, которая говорит: "Ничего этого нам не нужно... Россию умом не понять, у нее особенная статья... и теории нам нужны особенные"»¹⁰⁸. Здесь все бездоказательно и туманно. Кто становится в позу? «Опыт западной этнологии» отвергается просто из упрямства и косности, без аргументов? Какой конкретно опыт? Попытайтесь представить себе психически здорового человека из нашей среды, который не хочет знакомиться с результатами интересного исследования только потому, что оно проведено в другой стране... Мы слышим еще один «научный» миф, придуманный для того, чтобы изобразить инакомыслящих недоумками.

Что касается зарубежной (или мировой) науки, то ей еще предстоит открыть для себя русскую (советскую) этнографию. В целом ряде направлений (сибиреведение, тюркология, кавказоведение, этнография восточных славян, этнография народов Средней Азии и Казахстана, финноугроведение, изучение первобытной культуры, общины, кочевничества, ранних религиозных верований, особенно шаманства) без усвоения российского вклада исследования наших зарубежных коллег просто не смогут достичь должного профессионального уровня.

Примечания

¹ Рохлин Л. Сотворение катастрофы // Советская Россия. 11 декабря 1997 г. № 144.

² Российское общество и современный политический процесс (опыт политолого-социологического анализа). Аналитический доклад. Российский независимый институт социальных и национальных проблем. М., 1997. С. 7.

³ Там же. С. 23.

⁴ См., например: Максимов В. Зияющие высоты самодержавия // Правда. 12 июля 1994 г. № 122.

⁵ Тишков В.А. Советская этнография: преодоление кризиса // Этнограф. обозрение (далее – ЭО). 1992. № 1. С. 7.

⁶ Кенин-Лопсан М.Б. Проблемы этнографического изучения тувинского шаманизма. По материалам шаманского фольклора // Дисс. в виде научного доклада на соиск. ученой ст. д.и.н. СПб., 1996. С. 3.

⁷ См., например: Вайнштейн С.И. Тувинцы-тодзинцы. Историко-этнографические очерки. М., 1961. С. 170–194; Дьяконова В.П. Предметы к лечебной функции шаманов Тувы и Алтая // Материальная культура и мифология (Сб. Музея антропологии и этнографии. Т. XXVII). Л., 1981; *её же*. Тувинские шаманы и их социальная роль в обществе // Проблемы истории общественного сознания аборигенов Сибири. Л., 1981 и др.

- ⁸ Толстов С.П. Советская школа в этнографии // Сов. этнография (далее – СЭ). 1947. № 4. С. 27–28.
- ⁹ См.: Природа и человек в религиозных представлениях народов Сибири и Севера. Л., 1976; Христианство и ламаизм у коренного населения Сибири (вторая половина XIX – начало XX в.). Л., 1979; Проблемы истории общественного сознания аборигенов Сибири. Л., 1981; Грачева Г.Н. Традиционное мировоззрение охотников Таймыра. Л., 1983, а также большая серия статей.
- ¹⁰ Размышления о судьбах науки // ЭО. 1996. № 5. С. 9.
- ¹¹ См., например: На Берегу Маклая. М., 1975; Крюков М.В. Этот таинственный остров Эрроманга. М., 1989; Бутинов Н.А. Путь к Берегу Маклая. Хабаровск, 1975; *его же*. Полинезийцы островов Тувалу. М., 1982; Тумаркин Д.Д. По островам Океании // СЭ. 1972. № 2; *его же*. Новая встреча с Океанией // СЭ. 1977. № 6 и др.
- ¹² См., например: Путилов Б.Н. Миф – обряд – песня Новой Гвинеи. М., 1980.
- ¹³ Тишков В.А. Указ. раб. С. 7.
- ¹⁴ Басилов В.Н. Этнография: есть ли у нее будущее? // ЭО. 1992. № 14.
- ¹⁵ Толстов С.П. Основные теоретические проблемы современной советской этнографии // СЭ. 1960. № 6 и С. 12.
- ¹⁶ Арутюнов С.А. Преодоление какого кризиса? // ЭО. 1993. № 1. С. 12.
- ¹⁷ Размышления о судьбах науки. С. 7.
- ¹⁸ [Зиновьев А.А.] Необходимость сопротивления. Философ, социолог, писатель Александр Зиновьев в беседе с Виктором Кожемяко // Советская Россия. 18 сентября 1997 г. № 109. С. 3.
- ¹⁹ Каргаин С. «Нас всех здесь собрала боль...» // Советская Россия. 3 июня 1997 г. № 63.
- ²⁰ Толстов С.П. Основные теоретические проблемы современной советской этнографии. С. 11.
- ²¹ Чеботарева В.Г. Немецкие колонии Российской империи – «государство в государстве» // ЭО. 1997. № 1.
- ²² См.: Положение об инородцах // Законодательные акты Российской империи. «Устав об инородцах» М.М. Сперанского и земельная политика Российской империи в Сибири (XVII–XX вв.). Горно-Алтайск, 1994. С. 19.
- ²³ См., например: Мейер У. Коренные американцы. Новое движение сопротивления индейцев. М., 1974; Lyone O., Mohawk S., Deloria V., Hauptman L., Bermen H., Grinde D., Berkey C., Venables R. Exiled in the Land of the Free. Democracy, Indian Nations and the U.S. Constitution. Santa Fe, 1992.
- ²⁴ Долгих Б.О. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII веке. М., 1960. С. 615.
- ²⁵ Там же. С. 616–617.
- ²⁶ См.: Жуковская Н.Л. 250 лет официального признания буддизма в России. (Размышления о прошедшем юбилее некоторое время спустя) // ЭО. 1992. № 3.
- ²⁷ Климович Л.И. Ислам в царской России. М., 1936. С. 29.
- ²⁸ Сем Ю.А. Христианизация нанайцев, ее методы и результаты // Христианство и ламаизм у коренного населения Сибири (Вторая половина XIX – начало XX в.). Л., 1979. С. 198–199.
- ²⁹ Шибавя Ю.А. Влияние христианизации на религиозные верования хакасов (религиозный синкретизм хакасов) // Там же. С. 182.
- ³⁰ Токарев С.А. История русской этнографии. М., 1966. С. 111–112.
- ³¹ Там же. С. 16.
- ³² См., например: Мокшин Н.Ф. М.Т. Маркелов и этнографическое изучение финно-угорских народов // ЭО. 1994. № 6; Золотарев А.М. 35 дней в фашистском плену // ЭО. 1995. № 5. С. 3; Ашин Ф.Д., Алпатов В.М. Арест и ссылка Н.И. Лебедевой (по архивным материалам) // Этнография и фольклор Рязанского края (Первые Лебедевские чтения). Рязанский этнографический вестник. Рязань, 1966. С. 14–15; Керимова М.М., Наумова О.Б. Архив А.Н. Харузина в библиотеке МГУ // ЭО. 1995. № 5. С. 159.
- ³³ Толстов С.П. Советская школа в этнографии // СЭ. 1947. № 4. С. 9.
- ³⁴ Там же. С. 9–11.
- ³⁵ См.: ЭО. 1996. № 6; 1997, № 1–2.
- ³⁶ Крюков М.В., Софронов М.В., Чебоксаров Н.Н. Древние китайцы: проблемы этногенеза. М., 1978; Крюков М.В., Переломов Л.С., Софронов М.В., Чебоксаров Н.Н. Древние китайцы в эпоху централизованных империй. М., 1983; Крюков М.В., Малайин В.В., Софронов М.В. Китайский этнос на пороге средних веков. М., 1979; *их же*. Китайский этнос в средние века (VII–XIII вв.). М., 1984; *их же*. Этническая история китаев на рубеже средневековья и нового времени. М., 1987; Крюков М.В., Малайин В.В., Софронов М.В., Чебоксаров Н.Н. Этническая история китаев в XIX – начале XX века. М., 1993.
- ³⁷ Брак у народов Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1988; Брак у народов Западной и Южной Европы. М., 1989; Брак у народов Северной и Северо-Западной Европы. М., 1990.
- ³⁸ Толстов С.П. Дмитрий Николаевич Анучин – этнограф // Тр. Ин-та этнографии имени Н.Н. Миклухо-Маклая. Т. I. Памяти Д.Н. Анучина (1843–1923). М.; Л., 1947. С. 19.
- ³⁹ G[ellner] E. Preface // Soviet and Western Anthropology / Ed. by E. Gellner. London; Duckworth, 1980. P. X.

- ⁴⁰ Толстов С.П. Советская школа в этнографии. С. 20; см. также: Марков А.В. Обзор трудов В.Ф. Миллера по народной словесности. Пг., 1916. С. 1–2.
- ⁴¹ См., например: Кузеев Р.Г. Башкирские шежере. Уфа, 1960; Абрамзон О.М., Потапов Л.П. Народная этногония как один из источников для изучения этнической и социальной истории (на материале тюркоязычных кочевников) // СЭ. 1975. № 6; Толстова Л.О. Исторические предания Южного Приаралья. К истории ранних этнокультурных связей народов Арало-Каспийского региона. М., 1984.
- ⁴² См., например: Чистов К.В. Русские народные социально-утопические легенды XVII–XIX вв. М., 1967; Снесарев Г.П. Хорезмские легенды как источник по истории религиозных культов Средней Азии. М., 1983.
- ⁴³ См., например: Зарубин И.И. Белуджские сказки. Л., 1932; *его же*. Шугнанские тексты и словарь. М.; Л., 1960; Василевич Г.М. Материалы по эвенкийскому (тунгусскому) фольклору. Вып. 1. Л., 1936; *ее же*. Исторический фольклор эвенков. М.; Л., 1966; Попов А.А. Долганский фольклор. Л., 1937; Дыренкова Н.П. Шорский фольклор. М.; Л., 1940; Долгих Б.О. Мифологические сказки и исторические предания энцев. М., 1961; *его же*. Бытовые рассказы энцев. М., 1962; Сказки и предания иганасан. М., 1976; Розенфельд А.З. Сказки и легенды горных таджиков. М., 1990.
- ⁴⁴ См., например: Гордлевский В.А. Османские сказания и легенды // Избранные сочинения. Т. 1. М., 1960. С. 321 и др.
- ⁴⁵ См., например: Малов С.Е. Язык желтых уйгуров. М., 1967; Тенишев Э.Р. Уйгурские тексты. М., 1984.
- ⁴⁶ См.: Крупянская В.Ю., Полицук Н.С. Культура и быт рабочих горнозаводского Урала (конец XIX – начало XX в.). М., 1971; Крупянская В.Ю., Полицук Н.С., Будина О.Р., Юхнева Н.В. Культура и быт горняков и металлургов Нижнего Тагила (1917–1970). М., 1974.
- ⁴⁷ См.: Арутюнов С.А., Сергеев Д.А. Древние культуры азиатских эскимосов (Уэленский могильник). М., 1969; Арутюнов С.А., Крупник И.И., Членов М.А. «Китовая аллея»: Древности островов пролива Сенявина. М., 1982.
- ⁴⁸ Лавров Л.И. Эпиграфические памятники Северного Кавказа на арабском, персидском и турецком языках. Тексты, переводы, комментарии, введение и приложения Л.И. Лаврова. Ч. 1. М., 1966. Вторая часть этого труда опубликована в 1968 г., третья – в 1980 г.
- ⁴⁹ См., например: Козлов В.И. Динамика численности народов. Методология исследования и основные факторы. М., 1969; *его же*. Этническая демография. М., 1977; *его же*. Национальности СССР. Этнодемографический обзор. 2-е изд. М., 1982; *его же*. Иммигранты и этнорасовые проблемы в Британии. М., 1987 и др.
- ⁵⁰ См., например: Семенов Ю.И. На заре человеческой истории. М., 1989; *его же*. Происхождение брака и семьи. М., 1974; *его же*. Россия: что с ней было, что с ней происходит и что ее ожидает в будущем. М., 1995.
- ⁵¹ Кнорозов Ю.В. Письменность индейцев майя. М.; Л., 1963; *его же*. Иероглифические рукописи майя. Л., 1975.
- ⁵² Толстов С.П. Советская школа в этнографии. С. 20.
- ⁵³ Тер-Акопян Н.Б. [Рец. на кн.] Семенов Ю.И. Экономическая этнология // ЭО. 1995. № 1. С. 180.
- ⁵⁴ См., например: Марков Г.Е. Кочевники Азии. Структура хозяйства и общественной организации. М., 1976; Вайнштейн С.И. Историческая этнография тувинцев. Проблемы кочевого хозяйства. М., 1972; *его же*. Мир кочевников центра Азии. М., 1991; Масанов П.Э. Кочевая цивилизация казахов. М., Алматы, 1995.
- ⁵⁵ Бромлей Ю.В. Современные проблемы этнографии. Очерки теории и истории. М., 1981.
- ⁵⁶ Шницерльман В.А. Наука в условиях тоталитаризма // ЭО. 1992. № 5. С. 9.
- ⁵⁷ Максимов А.Н. Современное положение этнографии и ее успехи // Избр. труды. М., 1997. С. 40.
- ⁵⁸ Там же. С. 42.
- ⁵⁹ Fortes M. Introduction // Soviet and Western Anthropology. P. XX.
- ⁶⁰ Андреев М.С. I. Среднеазиатская версия Золушки (Сандрильоны). Св. Параскева Пятница. Диу-и Сафид. II. Из материала по мифологии таджиков. Ташкент, 1927. С. 18.
- ⁶¹ Там же. С. 13.
- ⁶² Пещерева Е.М. Некоторые дополнения к описанию праздника тюльпана в Ферганской долине // Иранский сб. М., 1963. С. 218.
- ⁶³ Лобачева Н.П. К истории календарных обрядов у земледельцев Средней Азии // Древние обряды, верования и культы народов Средней Азии. М., 1986. С. 23; Сухарева О.А. Празднества цветов у равнинных таджиков (конец XIX – начало XX в.) // Там же. С. 32.
- ⁶⁴ Пещерева Е.М. Гончарное производство Средней Азии (Тр. Ин-та этнографии АН СССР. Т. 42). М.; Л., 1959. С. 373.
- ⁶⁵ Снесарев Г.П. Традиция мужских союзов в ее позднейшем варианте у народов Средней Азии // Матер. Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. Вып. 7. М., 1963.

- ⁶⁶ Жданко Т.А. Проблема полуседлого населения в истории Средней Азии и Казахстана // СЭ. 1961. № 2; *ее же*. Номадизм в Средней Азии и Казахстане (некоторые исторические и этнографические проблемы) // История, археология и этнография Средней Азии (К 60-летию С.П. Толстова). М., 1968; *ее же*. Взаимоотношения кочевого и оседлого населения. Вступительное и заключительное слово на симпозиуме VII МКАЭН // Тр. VII МКАЭН. Т. 10. М., 1970. С. 517–525, 557–659.
- ⁶⁷ Кармышева Б.Х. «Кочевая степь» Мавераннахра и ее население в конце XIX – начале XX в. (по этнографическим данным) // СЭ. 1980. № 1.
- ⁶⁸ Лобачева Н.П. Различные обрядовые комплексы в свадебном церемониале народов Средней Азии и Казахстана // Домусульманские верования и обряды в Средней Азии. М., 1975. С. 328–329.
- ⁶⁹ Моногарова Л.Ф., Мухиддинов И. Современная сельская семья таджиков. (Матер. к серии «Народы содружества независимых государств». Вып. 8. Таджики. Ч. 1). М., 1992; Моногарова Л.Ф. Современная городская семья таджиков // Там же. Ч. 2. М., 1992.
- ⁷⁰ Сухарева О.А. К истории городов Бухарского ханства (Историко-этнографические очерки). Ташкент, 1958; *ее же*. Позднефеодальный город. Бухара конца XIX – начала XX в. (Ремесленная промышленность). Ташкент, 1962; *ее же*. Бухара. XIX – начало XX в. (Позднефеодальный город и его население). М., 1966; *ее же*. Квартальная община позднефеодального города Бухары (в связи с историей кварталов). М., 1976.
- ⁷¹ Gellner E. Preface. P. IX.
- ⁷² Марков Г.Е. О бедной науке замолвите слово... // ЭО. 1992. № 5. С. 5.
- ⁷³ Токарев С.А. История русской этнографии. М., 1966. С. 272.
- ⁷⁴ Александров В.А. Обычное право крепостной деревни России. XVIII – начало XIX в. М., 1984. С. 8.
- ⁷⁵ Максимов А.Н. Работы М.М. Ковалевского в области первобытного права // ЭО. Кн. 109–110. 1916. С. 3–4.
- ⁷⁶ Толстов С.П. Этнография и современность // СЭ. 1946. № 1. С. 10.
- ⁷⁷ Бутинов Н.А. Леви-Строс – этнограф и философ // Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1983. С. 422–466. См. также: Дьяконов И.М. Архаические мифы Востока и Запада. М., 1990. С. 48–60.
- ⁷⁸ Леви-Строс К. Указ. раб. С. 193.
- ⁷⁹ Манин Ю.И. Солнце, бедный тотем // Природа. 1985. № 6. С. 126.
- ⁸⁰ Леви-Строс К. Указ. раб. С. 193.
- ⁸¹ Там же. С. 194.
- ⁸² Манин Ю.И. Указ. раб. С. 127.
- ⁸³ Токарев С.А. История зарубежной этнографии. М., 1978. С. 194.
- ⁸⁴ Roheim G. Aphrodite, or the Woman with a Penis // Roheim G. The Panic of the Gods and other essays. New York; Evanston; San Francisco; London, 1972. P. 169–205.
- ⁸⁵ Толстов С.П. Советская школа в этнографии. С. 12–13.
- ⁸⁶ Снесарев Г.П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. М., 1969. С. 182–183.
- ⁸⁷ Толстов С.П. Этнография и современность. С. 10; *его же*. Основные теоретические проблемы современной советской этнографии. С. 18.
- ⁸⁸ Подробнее см.: Семенов Ю.И. Как возникло человечество. М., 1966. С. 34–48.
- ⁸⁹ Там же. С. 48–53. См. также: Семенов Ю.И. О различии между доказательствами ad veritatem и ad hominem, о некоторых моментах моей научной биографии и эпизодах из истории советской этнографии и еще раз о книге Н.М. Гиренко «Социология племени» // ЭО. 1994. № 6.
- ⁹⁰ Подробнее см.: Тумаркин Д.Д. К вопросу о формах семьи у тавайцев в конце XVII – начале XIX в. // СЭ. 1954. № 4.
- ⁹¹ Токарев С.А. История зарубежной этнографии. С. 200–201.
- ⁹² [Зиновьев А.А.] Моя революция. Философ, социолог, писатель Александр Зиновьев в беседе с Виктором Кожемяко // Советская Россия. 16 сентября 1997. № 108 (11546). С. 3.
- ⁹³ Буковский В. Я больше не хочу заниматься наукой // Знание – сила. 1992. № 3. С. 6. Близкое мнение высказал и «западник» И.С. Кон. См.: Кон И.С. Несовременные размышления на актуальные темы // ЭО. 1993. № 1. С. 6.
- ⁹⁴ Fortes M. Op. cit. P. XIX.
- ⁹⁵ См., например: Козлов В.И. Между этнографией, этнологией и жизнью // ЭО. 1992. № 2. С. 10.
- ⁹⁶ Шнирельман В.А. Указ. раб. С. 8, 9; Марков Г.Е. Указ. раб. С. 4.
- ⁹⁷ «Это была наука, и еще какая!» (Со старейшим российским этнографом Л.П. Потаповым беседует В.А. Тишков) // ЭО. 1993. № 1.
- ⁹⁸ Снесарев Г.П. О некоторых причинах сохранения религиозно-бытовых пережитков у узбеков Хорезма // СЭ. 1957. № 2. С. 70.
- ⁹⁹ Шнирельман В.А. Указ. раб. С. 9.
- ¹⁰⁰ Gellner E. The Soviet and the Savage // Current Anthropology. V. 16. № 4. December 1975.
- ¹⁰¹ Арутюнов С.А. Указ. раб. С. 9.

¹⁰² См., например: Токарев С.А. Современное австраловедение. (Библиографический очерк) // Этнография. 1928. № 1; Кагаров В.Г. Этнографические журналы на Западе // Там же, и др.

¹⁰³ Аверкиева Ю.П. История теоретической мысли в американской этнографии. М., 1979. См. также: *ее же*. Индейцы Северной Америки. М., 1974; Веселкин Е.А. Кризис британской социальной антропологии. М., 1977; Этнография в странах социализма. Очерки развития науки. М., 1975; Этнологические исследования за рубежом. Критические очерки. М., 1973; Этнография за рубежом: исторические очерки. М., 1979; Этнология в США и Канаде. М., 1989; Этнологическая наука за рубежом: проблемы, поиски, решения. М., 1991 и др.

¹⁰⁴ См., например: Дараган Н.Я. Очерк жизни и творчества Мирча Элиаде // Элиаде М. Космос и история. М., 1987; Ревуенкова Е.В. Проблемы шаманизма в трудах М. Элиаде // Актуальные проблемы этнографии и современная зарубежная наука. Л., 1979.

¹⁰⁵ См., например: Michael H.N. (Ed.). *Studies in Siberian Shamanism*. Arctic Institute of North America. Anthropology of the North. Translations from Russian Sources, N 4. Canada, 1963; Levin M.G., Potapov L.P. (Ed.). *The Peoples of Siberia*. Chicago; London, 1964; Dragadze T. (Ed.). *Kinship and Marriage in the Soviet Union*. Field Studies. London; Boston; Melbourne; Henley, 1984; Balzer M.M. (Ed.). *Shamanism*. Soviet Studies of Traditional Religion in Siberia and Central Asia. Armonk; New York; London, 1990 и др.

¹⁰⁶ Этнография и археология Средней Азии. М., 1979. С. 173–179.

¹⁰⁷ Ашинин Ф.Д., Алпатов В.М. «Дело славистов». 30-е годы. М., 1994. С. 71.

¹⁰⁸ Размышления о судьбах науки. С. 7.

V.N. B a s i l o v. Traditions of Russian Ethnography

Social sciences didn't remain without influence of dramatic changes experienced recently by Russia. In connection with new ideological atmosphere some scholars propose their critical evaluations of investigations made by the Russian (Soviet) ethnographers. The author of this article proves that Russian ethnography (anthropology), especially in the Soviet period, had created rich intellectual legacy. The main specific features of Russian ethnography formed in the concrete historical circumstances are characterized by the author.